

В. Г. КОРОЛЕНКО

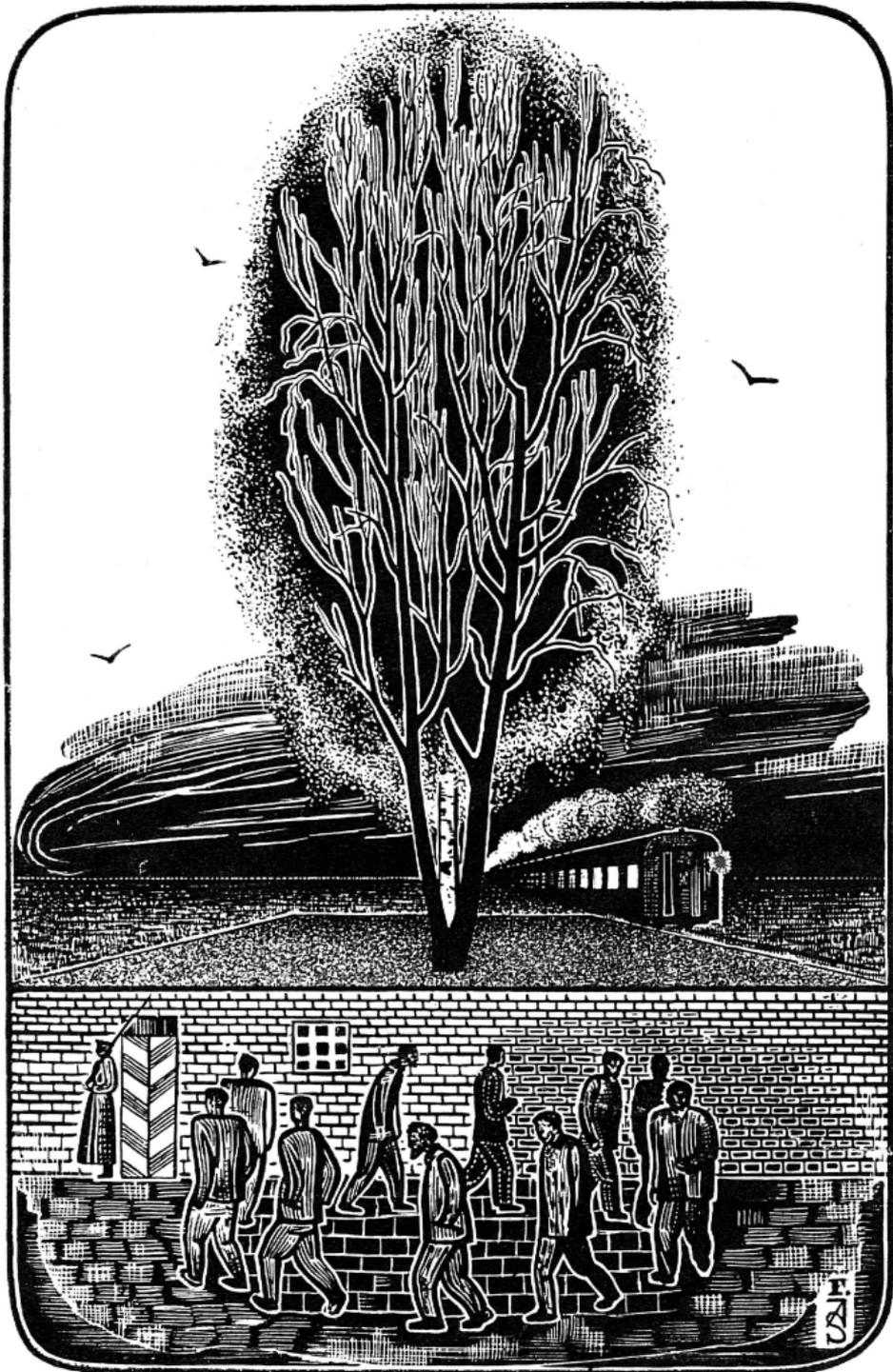
Земская
Книжка



ЛАС

1933





В. Г. КОРОЛЕНКО

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

1879



КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОРОД ГОРЬКИЙ 1933

*Суперобложка
рисунок переплета
фронтиспис и
титульный лист
Александра Сурикова*

С. АЛЕКСЕЕВ

О КОРОЛЕНКО

В одной из бесед с Горьким Короленко заявил: „Деревня— почва, на которой мы все растим и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять „разумное, доброе, вечное“ на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я легом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но он серьезно убеждал меня, что „деревенское кулачество— прогрессивное явление, потому что, видите ли кулаки накапливают капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной“.— Этот разговор происходил в Н. Новгороде по возвращении Горького из Тифлиса, незадолго до того, как под влиянием настойчивых просьб Короленко Горький „попробовал“ написать „что-либо покрупнее“, т. е. „Челкаш“.— „Нужно браться за черную легальную работу, за будничное культурное дело“— говорил Короленко.— „Самодержавие— больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать,— мы должны сначала раскатать его, а на этот ребуется не один десяток лет легальной работы“.

В 1901 году, также в беседе с Горьким, Короленко спросил: что же вы— стали марксистом? На ответ Горького, что он близок к этому, Короленко заметил: „Неясно мне это. Социализм без идеализма— для меня непонятен! И не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики мы не обойдемся“.

— „Тяжелое время! Растет что-то странное, разлагающее людей. Настроение молодежи я плохо понимаю, мне кажется, что среди нее возрождается нигилизм и явились какие-то карьеристы-социалисты губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно“.

Не увидел этих сил Короленко и после вооруженного восстания пролетариев Москвы, не понял Короленко и сущности

Октябрьской революции, с гадливым отвращением оттолкнувшись от подкупных писак, „что всякой критике замазывали рот“, этих „гасильников мысли“, „доносивших на всякую честную мысль“ (письма за август 87 г.)

Этот человек не пошел дальше отрицания „нерадостной современности“. Туманные идеи „справедливости“, „гуманности“, „человечности“— вот что противопоставлял Короленко российской действительности. Тоска по отживающей, разлагающейся под натиском капитализма общине, этой по мнению народников цитадели социализма, обуревала писателя на первом этапе его творческого пути. Мелкобуржуазные идеи о возможности превращения „выхода в люди“, т. е. в самостоятельные хозяйчики, ярко показаны в „Павловских очерках“. Ленин одним очень кратким указанием вскрывает всю иллюзорность таких мечтаний: „Для единичных героев самодеятельности (вроде Дужкина в „Павловских очерках“) такое превращение в мануфактурный период еще возможно, но, конечно, не для массы неимущих деталей рабочих“ (Ленин т. III, стр. 339).

„Энергичность“, в рамках легальности, интеллигентское культурничество, основанное на непонимании движущих сил борьбы и необходимости революционной ломки до основания буржуазно-помещичьего строя с его аппаратом угнетения.— все эти свойственные идеологам мелкого буржуа черты находим мы у Короленко. Он сочувствует страданиям народа, но он не поднимается выше простой критики несправедливых законов, нечестных судей и прослойки „подкупных“ среди интеллигенции. Движение идей заменяет у него движение вещей. Не общность материальных интересов, не интересы классов, не борьба этих классов есть движущие силы исторического процесса, а этика, построенная на представлениях вообще человека, неклассового человека, субъективные идеи „добра“ и „зла“. навязывание „народу“ тех или иных идей, нравящихся данному представителю критически мыслящих личностей,— вот что движет, по Короленко, историю.

Короленко интересуют, как он пишет Хованскому, не одни личные вопросы, но и вопросы своей страны, всего человечества, но как аполитично звучат слова Короленко о партиях: „Что вы разумеете под словом интеллигенция? Если под этим словом разуместь ту степень гражданского и личного развития, при которой человек интересуется живо не одними личными вопросами, но и вопросами своей страны

и всего человечества,—то ведь мы сейчас и придем к обязательности тех или других определенных взглядов, делящих людей на партии (понимая это слово в широком смысле)". Мы намеренно не опустили слов в скобках. Разве не характерным является тот факт, что Короленко мыслил партии в „широком“ и „узком“ смысле этого слова, для него были понятны эти партии в „широком смысле“, т. е. Группы интеллигенции, различно настроенные, имеющие определенные идеи, но вот экономических отношений, выражающихся в борьбе классов, т. е. партий в „узком“ смысле, Короленко не хотел признавать, „социализм без идеализма“ для него немислим, „общность материальных интересов“ ничто. Развитие личности,— вот что решает вопрос о принадлежности суб'екта к партии.

Он не мыслит себе человека, не имеющего никаких взглядов по вопросам о земских учреждениях, судах, крестьянских банках, общине, кустарных промыслах, кулачестве, степени участия общества в государственной жизни и т. д. и все-таки остающегося интеллигентным в полном смысле слова. Он осуждает тех интеллигентов, которые присоединялись к лозунгу „в России не полагается изменнических партий“ и которые „всю жизнь служили мраку, всю жизнь боролись с просвещением“. Но что противопоставляется этому?

„Будьте терпимы к чужому мнению, но имейте свое.. (как это напоминает: „Уважай чужое, сохранишь свое“)..." Вы цените в Каткове силу и требуете, чтобы все, даже противники, перед ней преклонились. Извините,—есть более благородные стимулы для преклонения. Сила, как таковая, есть только сила, количество и вызывает она преклонение только в такие беспринципные времена, как наше. Я помню еще другие принципы: снимите шляпу, говорили нам, перед маленьким человечком, сделавшим с *вашей* (подчеркнуто нами) точки зрения хорошее, хоть маленькое, дело. Тогда вы преклонитесь перед мыслью, перед своим убеждением, перед святыней, а не перед лицом. Умейте гордо держать голову перед силой, самой крупной, если по вашему искреннему убеждению она враждебна вашей святыне“.

Итак противопоставляется личность, верящая в свои идеалы В России—этой тюрьме народов, конечно, положение „личности“, даже по сравнению с другими монархическими государствами, было глубоко трагично и голоса таких, как Короленко, звучали в пользу угнетенных классов,

что Ленин давал убийственную характеристику тем, кто ограничивал всю борьбу *лишь* легальными возможностями. У Короленко же это основной мотив: нужно „раскачивать зуб“ но еще нет сил для того, чтобы его вырвать. История показала, что эти силы были. Короленко не поверил истории, остался при „личностях со своими идеями“. И он, верный своим убеждениям, пишет Гольцеву по поводу книги о подателях: „Ошибка и ошибка крупная состоит не в форме изложения, а в выборе темы. Не следовало брать этого вопроса, так как можно было вперед сказать, что всякое живое слово в этом деле будет искоренено безжалостно цензурской рукой, а слов мертвых говорить не стоит“. Так от критики автор „Слепого музыканта“ приходит в тупик, ибо он не мыслит нелегальной работы. Больше того, непоследовательность, свойственная субъективистам, непонимание классовой сущности податей приводит Короленко даже к таким заявлениям: „С него (человека) берут чуть не за то, что ему бог дал душу, во всяком случае, фактически облагают личный труд,— а капитал гуляет, как саврас без узды... Почему это так? Как сделать, чтобы этого не было, сколько с кого *взять*, как и куда тратятся деньги“? Короленко интересуется, почему это так, он считает, что видимо этот вопрос надо исследовать. Вопрос же слишком ясен: буржуазно-помещичий строй, говорить об этом строе можно лишь казуистическим, туманным, непонятным для цензуров языком или же в нелегальной форме. Короленко не рекомендует использовать в этом вопросе ни тех, ни других возможностей. „Мне кажется, что... о подателях, да еще для народа говорить теперь невозможно... вы схватились за тему, сплошь усеянную цензурными колючками. как еж, ну и накололись“.

Короленко мечтает надеть узду на „савраса“, он не может без содрогания видеть это наступление капитала. В „Художнике Алымове“ герой рассказывает: „Помните огни у парохода? Смотрят! Грозят! Дымище сзади тащится. Змей-Горыныч, не правда ли? А Татинец со Слонинцем (две деревни С. А.) мигают бедные так смиренно и жалостно... А пароходище ползет, дымит, глазами сверкает, *купчина на нем едет*“. Но это видение ограничивается лишь тем, как капитал „разрушает“ общину, деревню, Короленко не видит, что развитие капитализма порождает класс—могильщика буржуазии—пролетариат. У Короленко все еще теплится надежда на народ вообще, на „мужика“—бунтаря в частности.

В этой „Записной книжке“ читатель заметит, с какой любовью описывает Короленко этих сильных мужиков: „На носу барки стоит молодой бурлак... в ситцевой рубаше, босой, грудь расстегнута; стоит в очень изящной, положительно художественной позе, весь загорелый, оливкового цвета, мускулистый, сухой. Так и кажется при взгляде на эту могучую молодую фигуру, что не совсем еще перевелась на Волге-матушке удалая, гордая, хотя и голая воля.“ Или в том же упомянутом выше рассказе: „И было это, знаете, пониже Царицына, сть там этот знаменитый Стенькин утес:

Из людей лишь один

На утесе том был...

—Понимаете—это уездный врач тенорком,—и вдруг исправник октавой:

На-а Ма-аскву своротить он реши-иился!

Над исправником смеюсь, а сам на утес с замиранием поглядываю: „выйди, голубчик, выйди, милый“.

С годами уходила от Короленко и эта вера в мужика. А кроме мужика Короленко ни в кого не верил. И он уже с горечью вспоминает в „Художнике Алымове“ (точной даты произведения нет, издано после смерти Госиздатом Украины): „Точно двери какие-то открылись, повалил в них мужик и занял всю арену российского внимания; бурьян из-под заборов забрался на первые гряды. Куда ни повернись,—всюду он и притом в самом лучшем виде... Господи боже! Как мы его, голубчика, любили и как уважали. Где только ни встретим: привет и почет. Говори, голубчик, выскажись! И высказывался! Вон сидит у тракта в будочке поскотник. Обязанность, можно сказать, самая ничтожная: сиди у ворот да глупых телят на улице обратно загоняй... А подойдите-ка к нему: философ глубочайший! Беспортошные, безоброшные—все философы. Порток не имеет, оброку не платит,—а поучить нас, бедных, может. Потому что и в беспортошности его смысл глубочайший“.

Идет вместе с развитием капитализма дифференциация деревни. Не стает просто крестьянства, появляется кулак, середняк, бедняк. И Короленко теряется: он возмущен действиями цепкого мироеда, и он видит, что эти мироеды рождаются тысячами, но не хочет понять, что в России, как это доказано было Лениным в книге „Развитие капитализма в России“, уже капитализм, он же не хочет и против того, что „Россия обязана стать капиталистической страной“.

История, конечно, не считается с мнениями „критически мыслящих людей“. И вот Короленко не находит другого выхода, как вообще иронически подсмеяться над мужичком. Таков путь от преклонения перед внуками Стеньки Разина к отрицанию вообще роли крестьянства в общественном движении. Но, оторвавшись от одного класса, нельзя повиснуть в воздухе, и Короленко превращается в буржуазного либерала. Среди молодежи он видит лишь карьеристов-социалистов. Марксизм ему не ясен. А нельзя не быть на позициях определенного класса, если хочешь действительно интересоваться „земскими учреждениями, судами“, „вопросами своей страны и всего человечества“— нельзя. Короленко переходит на позиции буржуазного демократизма. Дорого оплачивается писатель за отставание от истории.

„Я—наблюдатель“—говорит Алымов-Короленко,—„потонул бы из любопытства с некоторым удовольствием“. Теперь „в России непременно или купец, или чиновник, или офицер... Ведь не мужик..“ „...Это свое, родное, скоро перепашут до подпочвы...“ „Все это напоминает как будто... разбитое зеркало.. Но—хотите вы сказать,—зеркало еще может собраться. Знаете, я ведь то же думаю! Что ж, в самом деле,—еще молод, все эти тучи и волны, и странники еще ходят в душе... Ну, а иногда мне кажется, что так все и останется клочками.. кажется, даже, что и всюду клочки.“ „Порой мне начинает казаться, что не один беспутный Алымов—разбитое зеркало, а все кругом, все наше поколение...“

Раскалывалось крестьянство, все резче и резче становились грани, раскалывалось и зеркало крестьянства. Ленин мощно звал все крестьянство в революцию под руководством пролетариата, намечая дальнейший стратегический план перерастания этой революции в социалистическую при опоре на бедноту и нейтрализации середняка. Короленко не понимал этого зова, он разводил растерянно руками перед „разбитым зеркалом“.

Он зовет „к новой жизни“, но сам смутно представляет себе очертания этой жизни.

В неразрывной связи с общим мировоззрением и социальной сущностью Короленко стоит и его творческий метод. Он предвосхищает на тридцать лет поклонников „живого человека“, вызывавшего еще недавно так много споров на литературном фронте. Еще в 1887 году в письме Каролину-

Петропавловскому Короленко утверждал: „Вы как художник представляете себе известное лицо, характер; оно стало как живое в вашем воображении; с этих пор оно для вас конкретный факт, живой и действующий. Все равно, списали ли вы его с натуры, или он есть продукт творческой фантазии. Важно, чтобы оно существовало в воображении именно как личность.. Раз вы представили себе его таким образом—оно уже конкретный факт и живет самостоятельной жизнью Оно не может поступать по вашему приказанию, потому что должно поступать и поступает сообразно своему характеру. Даже и высшие обстоятельства, в которые вы его поставите,—только отчасти зависят от вас: он сам в значительной степени будет их видоизменять и подчинять своему воздействию, своему настроению. Если это лицо для данного времени характерно и типично само по себе—хорошо; тогда его поступки, т. е. действие описываемой вами драмы—будет характеризовать известные стороны современной общественности“. Короленко указывает, что „категории общественных явлений, которые по вашему главным образом и должен рисовать художник...“, не могут служить исходным пунктом: „представьте себе, что, исходя из этих общих представлений вы начнете из их совокупности склеивать „характер“... (тогда. С. А.) „вместо представления о живом и потому действующем самостоятельно и независимо от вашей воли человеке у вас будет в руках манекен, который вы определите куда угодно“. Короленко требует от художественного произведения, чтобы в его основе лежало представление (непосредственное впечатление), полное, цельное, ясное об известном человеке, с его личными свойствами и темпераментом. Такое представление является для него конкретным психическим индивидом. Это свойственно буржуазному индивидуализму. Индивидуум вместо общественного человека. Ясно, что тут абсолютно отстраняется классовое понимание человека. Короленко и не мыслил партийности литературы. Ведь образы независимо от автора шествуют по страницам произведений, автор не может ими управлять, его дело фиксировать непосредственные впечатления. Короленко прямо указывает: „если они („психические индивиды“) не дадут общественных мотивов, то быть может и их личные горя и радости все-таки имеют интерес. Но художник не должен навязывать им из публицистических соображений тех или других действий“... Короленко раз'ясняет, что при всяких других способах

изображения не дается художественной бдительности. „Чрезмерная рефлексия вещь опасная, — говорит Короленко, — но что же делать. Токов уж у меня темперамент“ (письмо Гольцеву)

Мы должны стремиться к художественной убедительности и в этом отношении кое-чему учиться, некоторым сторонам творчества Короленко, критически подходя к этому творчеству, но мы, конечно, не можем исходить из таких субъективных предпосылок, которые рекомендует Короленко. Художественная изобразительность будет еще выше, если наши писатели на основе марксистско-ленинской методологии сумеют отразить нам более полно и с партийных, т. е. самых объективных позиций противоречивую действительность, сумеют показать тип подлинного классового человека со свойственными данному человеку индивидуальными чертами. Всякое общее связано с единичным, всякое единичное существует как часть общего.

Мелкобуржуазный субъективизм Короленко причудливо переплетается с буржуазным объективизмом. Не случайны поэтому такие строки в одном из его писем редактору и издателю журнала „Северный вестник“: „Роман Шабельской я прочитал. Герой проповедует непротивление злу... думаю, что ввиду слишком явных сближений с толстовским учением роман будет рассматриваться как произведение в значительной степени полемическое. Я думал бы предоставить ему проповедывать то же учение, но значительно сократить толки и рассуждения, которые вдобавок мало оригинальны“.

Публицистическое и художественное слово Короленко будило интеллигенцию, ставило перед ней сложнейшие вопросы. Но разрешить их Короленко в силу своей классовой сущности, идеалистического мировоззрения не мог. Короленко мечтал о гармоничном человеке, но он не понимал, что этот гармоничный человек невозможен в обществе, раздираемом классовыми противоречиями.

Путь Короленко имеет для нас крупный исторический интерес. Это путь интеллигенции в России. Многие через этот путь пришли в лагерь пролетариата, многие встали вместе с буржуазией. Нет интеллигенции, которая не являлась бы интеллигенцией определенного класса. И хотел или не хотел, сознавал или не сознавал этого Короленко, он пришел к буржуазному демократизму. И если после Февральской революции он облегченно вздохнул, то пролетарская

революция осталась для него тем, чего он не мог одобрить, ибо такой революционный скачек, коренная ломка общества не сходились с его идеями, эту дорогу он считал неправильной. К творчеству Короленко мы должны подходить исторически. И в этом разрезе то, что было сделано Короленко, имеет свою значимость. Всем известны глубоко поучительные факты из отношений его к самодержавию: протест против полицейского режима в с/х академии (1876 г.), отказ от присяги Александру III, борьба с голодом (1891 г.), выступление в защиту мултанских удмуртов (1895 г.), выступление против кишиневских погромов, против смертных казней в годы реакции, отказ от звания академика из солидарности с Горьким.

Книги и статьи: «В голодный год», «Дом № 13» «Бытовое явление» и многие другие являются такими документами, которых историк не может обойти вниманием.

„Сон Макара“, „В дурном обществе“, „Река играет“, „Без языка“, „Марусина заимка“—крупные по своей художественности вещи, которые наше поколение должно знать, как представляющие из себя, конечно, не полное и не всестороннее, но однако чрезвычайно красочное изображение современной Короленко действительности.

В. И. Ленин, при всей его скупости в даче характеристик, при всей скупости на похвалы, называет Короленко прогрессивным писателем.

„Записная книжка“, издаваемая впервые, представляет значительный исторический интерес. Она показывает нам первые опыты Короленко над художественным словом. В „книжке“ даны яркие зарисовки крестьянского быта и бурлачества: перед читателем, как в калейдоскопе, проходит много всяких фигур. Сделаны зарисовки жандармов, губернатора. Здесь чувствуется, конечно, все тот же гуманизм. Изложение носит эпическую бесстрастную форму, но выводы о всей убогости российских „порядков“ описываемого периода, о всей неприглядности физиономии слуг самодержавия напращиваются сами.

А. ГРИНЕВИЦКАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые появляющийся в печати в настоящем издании дневник Владимира Галактионовича Короленко представляет собой точную копию заметок, занесенных писателем в свою записную книжку при высылке из Петербурга в Вятскую губернию в мае 1879 г.

Напомним в кратких чертах историю ссыльных скитаний Вл. Короленко, длившихся целых пять лет, началом которых является описываемое в дневнике путешествие.

4-го марта 1879 года в квартире Короленко, помещавшейся в проходном дворе, выходявшем одной стороной на Невский проспект против Александро-Невской части, а другой—на вторую улицу Песков (Невский, 134, кв. 21), был произведен обыск, после которого все мужчины из семьи Короленко (братья Короленко—три родных и один двоюродный и муж сестры—Марии Галактионовны—Лошкарев) были арестованы и заключены сначала в Спасскую часть, а затем, несколько дней спустя, перевезены в Литовский замок.

Никакого обвинения арестованным предъявлено не было и они находились в полном недоумении относительно причины ареста.

В очерке — «История моего современника», имеющем «автобиографический характер, по этому поводу Вл. Г-ч говорит:

«То обстоятельство, что мы были арестованы все, — заставляет предполагать, что, при поисках тайной типографии, полицейские обратили внимание на «неблагонадежную» семью, все мужчины которой были причастны к типографскому делу. Явилось предположение, что мы, вероятно, достав-

ляем шрифты и можем руководить техникой тайной типографии. Этой гипотезы для полиции было достаточно, хотя, надо сказать, это была совершенная фантазия»¹.

А дальше так описываются попытки Короленко протестовать против ареста с требованием освобождения:

«С первых дней ареста я написал прокурору, требуя допроса и освобождения. Некоторое время никакого ответа не было, и Денисюк², через которого пришлось подавать эти заявления, пожал плечами и сказал: «Напрасно. Не вы одни... Всех арестуют так же и держат без допроса».

Но вот через два или три дня меня вызвали в канцелярию. Здесь ждал меня жандармский офицер, который заявил, что он приехал для допроса. После первых формальностей он вынул небольшой продолговатый конверт, на котором неровным почерком было написано: Здесь III отделение канцелярии Его Величества. Шефу жандармов, Генералу Дрентельну».

— Признаете ли вы, что это писано вашим почерком? — спросил меня офицер.

Я успел уже дать письменные ответы на первые формальные вопросы и вместо ответа на этот вопрос предложил ему сличить почерки. Ни малейшего сходства не было.

Я был разочарован. Я ждал объяснения своего ареста, а вместо этого мне предлагали какой-то фантастический конверт. Я высказал это с таким возмущением и горечью, что офицер несколько сконфузился. Он порылся в портфеле и вынул оттуда бумагу. Это было заключение экспертов, сличавших почерк конверта с почерком одного из взятых у меня при обыске писем. Комиссия состояла из нескольких канцелярских писцов и нескольких учителей чистописания. Сии каллиграфические мудрецы признали, что почерк на конверте старательно изменен, но все же начертание отдельных букв, таких-то, а также общий характер письма

¹ Все выдержки приводятся из полного посмертного собрания сочинений В. Короленко в издании Государственного издательства Украины — Харьков 1922 и 1923 г. г., — в сносках будет делаться ссылка на том и страницу названного издания — Т. II, ч. 2, стр. 221.

² Денисюк — пристав Спасской части.

«дают основание заключить с несомненностью, что адрес на конверте и предъявленное комиссии письмо, подписанное моей фамилией, писаны одной и той же рукой.

Я представил себе, как эти каллиграфы старались угодить начальству своей экспертизой, и сказал:

—А не пробовали ли вы предъявить еще чьи-нибудь письма для сличения другому составу таких же мудрецов?

Повидимому я угадал, так как офицер странно улыбнулся и на этом кончил допрос. Моих требований объяснить причину ареста он удовлетворить не мог. Помнится, что фамилия этого офицера была Ножин. Он казался несколько сконфуженным и скоро уехал, а я вернулся в свою одиночку»¹.

Когда, по возвращении в камеру, Вл. Г-ч сообщил («герестукал» через стену) своему соседу Виноградову о происходившем допросе, последний высказал предположение, что революционный комитет прислал шефу жандармов Дрентельну угрозу и что это, Вл. Г-ча, подозревают в написании адреса на конверте, в котором заключалось извещение комитета.

Предположение Виноградова подтвердилось, — действительно, несколько дней спустя, на шефа жандармов среди белого дня неизвестным молодым человеком было произведено покушение. Вл. Г-чу стало очевидным, что в этом покушении ему приписывается некоторая роль.

Больше Короленко никаким допросам не подвергался, несмотря на его настойчивые требования.

Слишком двухмесячное заключение завершилось описываемой высылкой.

Из Литовского замка высылались Владимир и Иларион Короленко, как выяснилось в конце их пути, под надзор полиции в распоряжение Вятского губернатора. Последний назначил местом их ссылки захолустный город Глазов Вятской губернии.

Здесь братья Короленко зарабатывали средства к существованию ремеслами (слесарным и сапожным), которые они изучали в Петербурге, намереваясь идти «в народ».

¹ Т. II, ч. 2, стр. 231 — 233.

Владимир Короленко много доставлял неприятностей властям своим беспокойным характером.

Он смело и открыто выступал перед начальством против незаконных распоряжений и не подчинялся им. Писал в сильных и резких выражениях жалобы на незаконные распоряжения низших властей вышестоящим (губернатору на исправника, министру на губернатора и т. д.). Естественно, что такое поведение «государственного преступника» создало ему репутацию опасного революционера. «И до самой старости меня проводила та же репутация опасного агитатора и революционера, хотя я всю жизнь только и делал, что взывал к законности и праву для всех, указывая наиболее яркие случаи его нарушения»,—пишет Короленко в «Истории моего современника»¹. За такое «беспокойное» поведение Короленко вскоре, по распоряжению Вятского губернатора, был выслан из Глазова в самый лесной угол Вятской губернии—Березовские Починки, «куда с сотворения мира не заглядывала никакая власть выше урядника».

«Мы край света живем, под небо сугорбившись ходим», рекомендовался Короленко хозяин дома, в котором он поселился в Б. Починках. Но и на «краю света» Короленко был верен себе, и здесь он не оставлял без протеста незаконных распоряжений «законных» властей, зачастую привлекая к обсуждению этих вопросов и местных жителей, которые всегда становились на его сторону, что подрывало авторитет начальства...

Чтобы избавиться от Короленко, Вятская администрация прибегла к доносу на него в высшие инстанции с ложным обвинением в покушении на побег с места ссылки.

В результате, после нескольких месяцев пребывания в Березовских Починках, Короленко арестовывается и препровождается под конвоем жандармов в Вышневолоцкую политическую тюрьму, в которой при строгой изоляции содержится пять месяцев, а затем отправляется для следования этапным порядком на место новой административной ссылки—в Якутскую область, сроком на 3 года.

Все это происходило в последний период царствования «царя освободителя», период резких колебаний политики

¹ Том III, ч. 3. стр. 48.,

русского правительства от крутых репрессий к «диктатуре сердца» и обратно. Во время следования Короленко в Якутскую область судьба его попала в полосу «диктатуры сердца».

Вышневолоцкую тюрьму, в момент пребывания там Короленко, посетила специальная комиссия по расследованию дел лиц, административно высланных и содержащихся в административном порядке. Опрошенный этой комиссией Короленко со свойственной ему правдивостью и прямолинейностью, не жалея красок, изложил всю ужасающую картину существующего административного произвола. Это, повидимому, произвело известное впечатление и возымело свое действие. На пути (в Томске) Короленко было сообщено, что, на основании постановления верховной комиссии, ссылка в Якутскую область заменяется ему (до разбора дела) ссылкой в пределах Европейской России.

После этого распоряжения, из Томска Короленко следовал все тем же порядком, под конвоем жандармов, но уже в обратном направлении—с востока на запад.

В Перми выяснилось, что Короленко назначен в распоряжение Пермского губернатора, чтобы под надзором полиции отбывать свою ссылку. Оставленный «милостью» Пермского губернатора Енакиева в городе Перми, он поступил на железную дорогу письмоводителем статистического отдела службы тяги. Здесь он прожил более или менее благополучно до марта 1881 года.

Когда был убит Александр II, Короленко было предложено принести верноподданническую присягу новому царю—Александру III. Короленко отказался это сделать и вручил губернатору мотивированный отказ. Здесь он, подробно изложив вопиющие факты административного произвола, заявлял, что, испытав лично и видев на окружающих столько неправды от существующего строя, он дать обещания в верности самодержавию не может.

Заявление это было направлено губернатором в Петербург на заключение департамента полиции, а Короленко, впредь до распоряжения свыше, был оставлен на свободе и продолжал посещать свою службу.

11 августа 1881 года последовало распоряжение из Петербурга: Короленко арестовать и под конвоем отправить в Якутскую область.

Протерпев снова тяжелый, долгий путь под конвоем жандармов, Короленко прибыл в Якутскую область и был поселен в слободе Амге, где прожил до сентября 1884 года, занимаясь земледелием и сапожным ремеслом.

По окончании срока этой ссылки он возвратился в Европейскую Россию, выбрав местом своего жительства Н. Новгород, и прожил в нем с января 1885 года по январь 1896.

Но и в Нижнем административный произвол не оставлял Короленко в покое. Вскоре по переезде его сюда в квартире Короленко был произведен обыск, Вл. Г-ч арестован и препровожден в дом предварительного заключения в Петербурге. Обвинение было настолько неосновательно, что даже сам жандармский штаб-ротмистр на нем не настаивал, и Короленко, после нескольких дней заключения, был освобожден и, давши подписку о невыезде с места постоянного жительства, возвратился в Нижний.

Нижегородский период является периодом расцвета литературной деятельности Короленко,—здесь были написаны лучшие его вещи.

В то же время период этот для Короленко был полон борьбы с «сильными мира сего». Он воевал с «диктатурой дворянства»; боролся с голодом и «деятелями», отрицавшими его, в голодный 1891 год; горячо и страстно протестовал против нарушения судом элементарных правил судопроизводства в деле мултанских вотяков, бездоказательно осужденных по обвинению в приношении языческим богам человеческой жертвы. Помимо разоблачений этого «темного» дела в печати, Вл. Г-ч выступил сам в качестве защитника на третьем разбирательстве его, завершившемся, наконец, оправданием обвиняемых.

✧

Печатаемый дневник есть кусок сырого материала, из которого Короленко создавал отдельные картины в «Истории моего современника». Чтобы проследить творческий процесс художника-писателя, в конце настоящей книжки приводятся соответствующие выдержки из «Истории моего современника», материалом для которых послужил дневник.

✧

С внешней стороны подлинник дневника—небольшая карманная записная книжечка (размером 13,5 × 8 см.) в зеле-

ном, тисненом под кожу, коленкоровом переплете, с глянцевитой «мраморной» подкладкой. Записи производились карандашом и впоследствии были обведены чернилами. Среди текста имеется более 20 карандашных рисунков (и недоконченных зарисовок), часть которых также впоследствии заштрихована чернилами. По техническим условиям в настоящей книжке все рисунки воспроизведены не могли быть.

В размещении рисунков нами сделана некоторая перестановка, т. к. в дневнике они не всегда соответствуют тексту.

⋆

Знаки препинания и сокращения слов приводятся в строгом соответствии с подлинником.

На первом листе записной книжки надпись неуверенным женским почерком: «Владимиру Галактионовичу Короленко»; на обороте этого листа тем же почерком: «Володя пиши пожалосто много». Далее идут разными почерками записи каких-то денежных операций на сумму 11 р. 47 к.

Надпись на книжечке принадлежит, вероятно, матери Вл. Г-ча, плохо владевшей русским языком.

С третьей страницы начинаются записи Вл. Г-ча. Весь текст дневника написан легко и свободно, почти без помарок и исправлений.

Записная книжка была подарена лично Вл. Г-чем во время его пребывания в Нижнем-Новгороде нижегородцу — Владимиру Адр. Горинову.

Публикация книжки делается с согласия семьи Короленко.

⋆

Все примечания к записной книжке даются в конце ее текста.

Примечания эти составлены М. Е. и Б. Д. Федоровыми.

В. Г. КОРОЛЕНКО

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

1879



мая сняли карточки. Скоро значит.

13 мая (воскр.) утром, часов в 7, разбудил Станкевич: «Двух Короленков, Влад. и Илар! Пожалуйте, господа». Мина конфузливо встревоженная. «В чехауз!» Переодеваемся. Долой арестантские куртки. В контору. Выдают вещи. Прощание. Жандармы являются. Я вышел первый (обещают везти нас с Перцем¹ вместе до Москвы. Что это значит? До Москвы! а дальше куда? Лесевича², накануне, в Вост. Сибирь увезли (тоже утром),—на Москву поехал. Макс Гордон³ тоже до Москвы).

Парад. По пяти жандармов на брата. Двое садятся в карету внутрь, один на козлах, двое скачут у дверец. Встречные мужички снимают шапки, иные крестятся. Что значит? Поклоны понятны: очень уж много начальства. А крестятся зачем? На вокзале (на дебаркадере) на встречу попался какой-то штатский господин, очевидно расхаживающий с деловой целью. Жандармы честь отдают. Оказывается Фурсов⁴. Ожидать 1½ часа. Сижу в комнате (т. наз. «Полиц. кабинет») окнами на Знаменскую площ. Светлое утро. Толкотня извозчиков едва начинается. В полицейском кабинете

откуда-то из-за шкапа появляется полуодетая фигура в ситцевой красной рубаше. Оказывается—городовой. Зевает, потягивается, крестится, затем облачает форменное платье и через минуту уже действует перед окном, сортирует и расставляет извожиков, ругается, лошадей за морды хватает и т. д.

Тепло. Народ снует. Вагоны конки еще не выезжали. К вокзалу начинают собираться (за полчаса до нашего поезда идет поезд в Бологое). Странное впечатление. — Все эти люди собираются в путь. Я тоже в путь собираюсь. Когда вернусь сюда? Вернусь ли? Конечно, вернусь еще.

Не увижу ли случайно кого-из наших? Очень близко квартира. Да нет, рано. Спят еще пожалуй. А там пойдет мамаша в Лит. замок,—узнает: «выбыли».

Выводят из кабинета. В коридоре такой же кортеж. Встречаюсь с Перчиком, идем рядом. Ну, значит, вместе.

Ждем в вагоне. Отдельное купе. Шесть жандармов, двое московских, возвращаются из Петрозаводска. (Кого-то, думаю, туда возили?).

Любопытные из публики заглядывают как-то робко. Кондуктор входит развязно. В расспросы пускается, даже пытается сострить (насчет видов что-то толкует),—«мы мол тоже эти дела понимаем». Стушевается.

Скучно. Скорее бы. Какая-то дама меж публикой ходит, будто высматривает кого-то. Глаза заплаканы. Не жена ли Лесевича? Кажется нет, а может и она. Неужели она еще не знает, что мужа увезли. Хочется крикнуть ей, да не услышит.



Камера Отделенной каюты
(от С-го Шварца)

Да и вряд ли она это (в конторе я ее, между прочим, видел, да плохо).

Звонок. Скоро. Итак, вот оно—решение! Чтож, может не хуже всякого другого. Слова Саши⁵ вспоминаются (кажется говорил об них мамаше).

Вспоминаются многие лица. Что-то со всеми вами, с дорогими хорошими людьми? Что с кем совершат? Что будет с корректурами?⁶

Тронулись. Сначала все смотрели виды исчезающего Питера. Быстро мелькают вагоны, локомотивы, целая сеть рельсов; затем домишки, огороды, кладбище, вот церковь Митроф., а вот подалее Владимирская открылась. А там трубы заводов, верхушки домов Царскосельск. пр., откуда я в первый год после приезда в Питер поезда смотрел. Затем поля. Довольно.

Разговор с Перц. вертится около последнего времени в Литовск. замке. Что там? Подавленное состояние, как и всегда после «изъятия». Каждый ждет—скоро ли мол меня? Куда?

Дорога сначала ни весела, ни скучна. С наслаждением вдыхаем свежий воздух. Любуемся видами, каких не встретить было в Тюремном переулке. Беседуем. Вечером глаз у меня заболел. Ощущение такое, как будто что попало, а устранить нельзя.. Всю ночь не сплю. Веки от сильного раздражения напухают. Не нарыв ли? *

Жандармы вежливы, даже предупредительны. Взаимные отношения весьма ограничены. Нет почти симпатичного лица,—или глупо, или писарски франтовито. Публика заглядывает в окна; рабочие кой-где толпятся; смотрят чинно, внима-

* Все теперь прошло (мамаше)

тельно и как-то серьезно. Меня вообще очень интересовали эти кучки рабочих, собиравшихся у наших окон почти на каждом вокзале. Подойдет один-два, заглянут и остановятся тут же. Махнет рукой, если близко есть другие, смотришь—набралась целая кучка, стоят безмолвно и смотрят, как будто даже деловито, вообще—без ротозейства; может быть, эта серьезность объясняется присутствием 6 жандармов, но (по поверхностному правду впечатлению) мне чуялось здесь какое-то сочувственное внимание. Как будто мы служили для них иллюстрацией к чему-то, что им приходилось уже слышать ранее. Проверить это впечатление, конечно, не мог. Не только нам разговаривать с посторонними не давали, но их гнали от окон очень часто.

Чем дальше от Питера, тем оживленнее картины. Особенно живописен вид с мстинского моста.

Поезд громыкает по временному деревянному мосту на высоте 15-20 сажен. Внизу не особенно широкая, быстрая Мста. На середине реки красуется бык будущего нового моста, весь еще обложенный целой сетью лесов. Река бежит мимо, разбиваясь на бурливые, быстрые течения, и отражение этой лохматой массы дерева и камня, ломаясь и переливаясь в быстрых волнах несколько замутившейся реки, ходит точно живое и делает картину еще оживленнее, ярче. Тут же, обок, большая барка, также живо отражаясь в реке, тянется к берегу. Кучка рабочих на этой барке, далеко внизу, ходит вокруг ворота, и оттуда несетя вверх, с реки, крепкий напев дубинушки. Надо добавить еще два возвышенные, зеленые берега,

круто поднявшиеся над водой высоко, высоко, да две серые насыпи, врезавшиеся с обеих сторон кручи и в зелень берегов и в эти быстрые волны, да еще рабочие локомотивы на самом краю на гребне насыпей сверху, да массу плотов, точно живые, кишаших на верхушках играющих волн, там далеко внизу, да яркое солнце, да взмахи песни, и наконец — установить точку зрения на высоте, с моста, перекинувшегося через реку, из окна медленнодвигающегося по мосту поезда. Да, после тюремного замка это картина!

Дачи кишат. Дебаркадеры жел. дорог — очевидно любимейшее место гулянья.

*

На одной из станций С. И. видел. Он кажется тоже заметил и отошел тотчас же.

*

Вообще поездка по железной дороге — оставила впечатление, как бы сказать — чего-то театрального. Точно декорации. Зонтики, шляпки, дамочки, по летнему одетые, но не без признаков моды, нарядные, веселые; породистые, довольные рожи инженеров, начальников станц. и т. подобной «интеллигенции»; группы хорошеньких детей, также интеллигентного происхождения. Семейные картины, приятная фамильярность породистых кавалеров с нарядными дамами, наконец пестро наряженные мещанки или сливки сельского кулачества, дерзающие показать и себя среди господ на дебаркадере, — вот общая картина. Раз только задрезало откуда-то из-под вагона старческое «христа ради», да несколько раз мальчонки из деревень набегали, шныряя меж колес, оборванные,

босые, с бутылками, выкрикивая своими звонкими голосами: «Молоко, 8 коп.». Наш вагон они, впрочем, обшмыгивали далеко, так как из окна смотрели жандармы. Один было вынырнул под самым окном и, застигнутый вопросом в упор: «Что продаешь?» — ответил рефлексивно: «Сливки, 8 коп.» но тотчас же скрылся, несмотря на то, что жандарм полез в карман за деньгами. Ну, а подальше то от вокзалов, в стороне где-нибудь на холмике или в лоштинке притаилось село, да так, что и не увидишь его—сливается как-то с почвой. Серó.

*

Близко академия. Не увижу ли кого? Нет. В Химках садится много публики, несколько фигур в роде студентов; немцы, должно быть. Незнакомые лица. На платформе академии тоже. Не привелось кинуть два три прощальные слова. Пустяки, конечно, а очень хотелось дослать два три пустых словечка хорошим своим человечкам: «Прощайте-мол. Еду к чорту на кулички, а где оные места—и сам не знаю». Не удалось.

*

Москва, шоссе (Петровское, кажется). Поверх по мостику валит народ; обозы, ломовики, извозчики—тяга в столицу. Опять вагоны, опять сеть рельсов. Жандармы подтягиваются. Ну, придется ли дольше ехать вместе. Сомнительно. Свезут ли хоть вместе, не придется ли посидеть, перед тем как разъехаться в одиночках.

*

Публика выходит из вагонов, мы ждем. Опять любопытные взоры и парадное шествие. Неловкости, впрочем, не чувствую.

Сажают в отдельные кареты. Садовая ул., Красные ворота (помню их при подобных же обстоятельствах, только и они теперь подновлены, да и я смотрю на них не с тем уже чувством).



Не свезут ли чего доброго в Басманную часть, на насиженное некогда место¹. Нет. Миновали Яузскую и еще какую-то часть. А вот и место назначения. Толстый бутырь проворно снимает с ворот протянутую зачем-то измызганную веревку, и мы въезжаем во двор. Москва во всем своем безобразии!

¹ В 1877 году Вл. Г-ч был так же арестован в Москве и выслан в адм. порядке в Вологодскую губ. за участие в студенческих беспорядках в Петровской академии. (А. Г.).

14 мая. Рогожская часть. Дорогой в эту часть заметил опять, что рабочие кланяются при встрече кареты. В одном месте слышу, городской (ехавший с нами с вокзала) говорит жандарму: «Вот дураки-то, видели вы: крестятся. Вот оно—мужичье». — Мне показалось это странным. — «На церкви должно быть, церковей у вас много». Городской хотел отвечать, но жандарм как-то торопливо промолвил: «Да, на церкви». Может и действительно на церкви. Мне показалось только что-то странное в тоне разговора.

К месту заключения подъехали. Двор или улица—не разберешь. С одной стороны ворота с веревкой: придают характер двора; с другой самые разнокалиберные здания с чисто московским отпечатком грязи и беспорядка и снующий взад и вперед не менее разнокалиберный народ—напоминает улицу.

Карета останавливается у какой-то каменной коробки, запертой наглухо с первобытнейшим засовом и замком. У дверей изображенный ниже мушкетер, существо, кажется, водящееся только в Москве. Это что-то в роде городского с мушкетом. В окна глядят из-за решетки запертые в коробке «господа». Ближе у первого окна какие-то два артиста (жулики надо полагать). Болт громыкает, дверь отворяется; коробка открывает нам свои затхлые объятия. Перед входом объясняю сопровождающему нас офицеру, что мы два брата, едем вместе, и нет причины сажать нас в одиночку. Доложит смотрителю. Прошу доктора (для глаза) и позволения написать письмо. Доложит также. Сам ничего сделать не может. И так, в одиночках опять!



Вначале одиночная камера кажется до невозможности грязной, но через несколько минут уже привыкаю. На лестнице затихают шаги жандармов и полицейского офицера. Затем стук болта. Двери заперты, коробка закрыта.

Весьма странная коробка. Все как-то выведено неровно, неуклюже, аляповато. Все обмызгано, исцарапано, заплевано. Парашка представляет крайнюю степень деградации: это уже просто банная шайка, ничем не прикрытая, и остающаяся в камере весь день. Зато, как присмотришься,

Петя изобразил своим характерным почерком. П. З. Попов⁸, политический, -привезен из Пет. мая. Поваяло знакомым, родным в грязной каморке. Где то они теперь? В других местах из-под слоев пыли и грязи выступают имена незнакомых товарищей по участи: Jan Tomaszewski w drodze do Omska $\frac{10}{IV}$ 79. Henryk Zielenski takoz. Попозже.

Не особенно скучно. Думается. Смотрю в окно, наблюдаю мушкатеров. Простота замечательная. Жулик из окна острит над часовым, ругается; тот не остается в долгу. Рисую.

Удивительно! Доктор явился через полчаса после требования. Приличный и довольно приятный молодой господин. Смотритель явился также. На всех пунктах—отказ. Каждый его шаг согласуется с волей начальства (вот оно в Москве-то как!) Вместе посадить нельзя. Писать нельзя. Спросит у градоначальника. Ну, не надо!

Через полчаса принесли лекарство. Кажется просто свинцовый раствор. Полицейский офицер объясняет, что надо примачивать через час; будет приносить сам. Оставить пузырек с лекарством в мое распоряжение нельзя—могу отравиться. Вот идея! Да еще свинцовой примочкой! Прошу не беспокоиться ежечасно. Довольно в два часа раз.

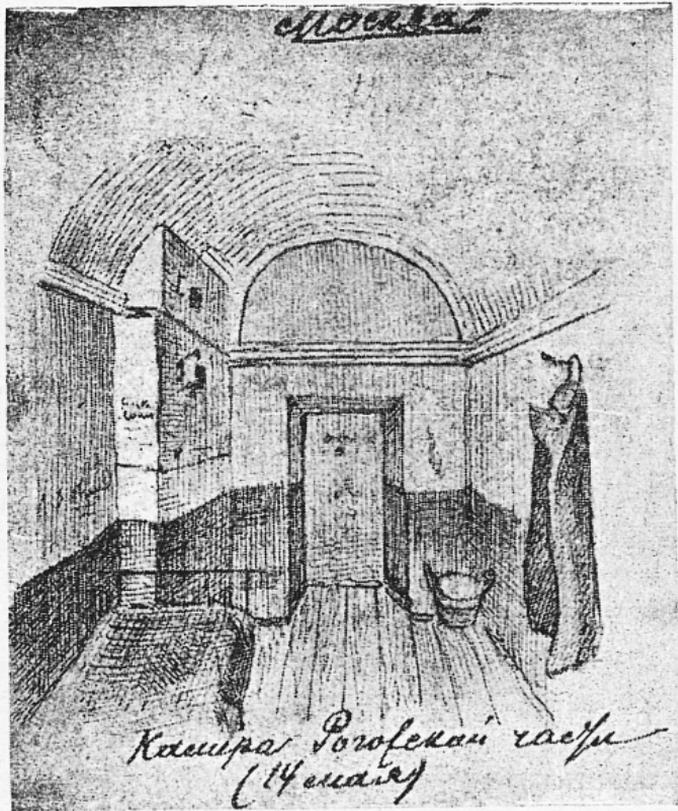
Лег спать, так как не спал всю прошлую ночь (глаз мешал).

Разбудили к чаю. Вскоре затем являются жандармы. Помешали докончить начатый рисунок.

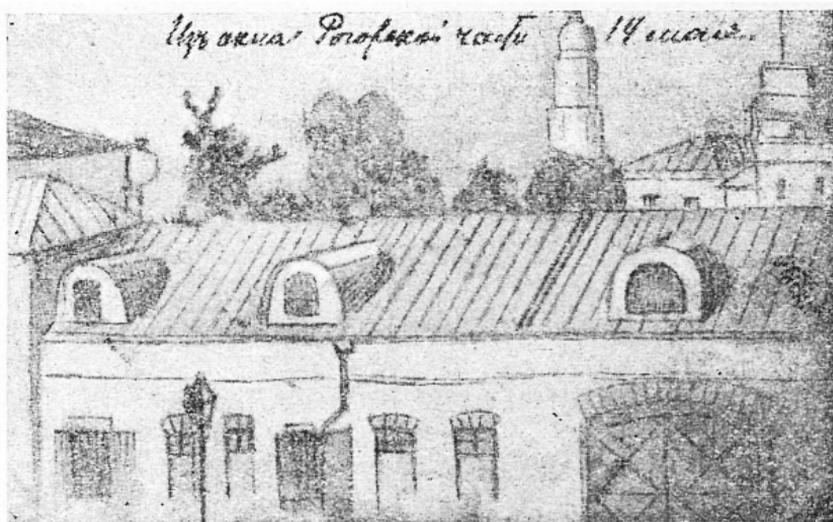
В путь! Перца выводят вместе.

Мимо Красных ворот опять. Куда? Опять, как и некогда, на Ярославский вокзал. А далее? Жандарм попался дурак, труслив и осторожный.

Молчит. На вокзале встретил Бочкарева⁹. Отправляют его в Вологду. Узнаём, что нас в Кострому. Далее неизвестно, т.-е. известно, да молчат жандармы. Бочк. с своими устроился. Очевидно



сильно корыстуются, любезничают очень гадко; наши уж лучше, хоть грубее. Запрещают разговаривать с Бочкар.; однако, когда мы сказали наотрез, что говорить будем, отстали. Бочк. свидетель по мамонтовскому делу, рецидивист, т. е. раньше низачто был сослан в Красный Яр, а теперь высылается как подозрительный, раз уже бывший в ссылке.



15 мая. В 7^{1/2} часов утра приехали в Ярославль. Попрощались с Бочкаревым, однако оказалось, что едем еще вместе на пристань. Наняли линейку. Волга. Жандармы расплачиваются за линейку. Кучер изъявляет претензию. Спор из-за двугривенного. Решают, что за спорные 20 к. нас свезут к самой пристани, но на пристани возница получает только 15 к. Затем он опять является на пристань. Оказывается, что его обсчитали; не заплачено за одного человека. Жандармы прибегают к начальственному тону, доказывая вознице, что он «не имеет «полного права» подходить к ним». Кучер ропщет, жандарм негодует. — «Эдакой негодяй!» Какой-то торговец еврейского типа присоединяется к жандарму. — «Как это полиция не входит в это. Грабители извозчики! Вот и его посадили за 15 к., требуют 20». Кучер удаляется. Вообще жандармы не церемонятся. Извозчиков везде берут в качестве начальства

без права отказаться, платят что вздумается, да еще прикрикивают. Один в вагоне хвастался, что в дороге, в деревне поднял ночью бабу.—«Давай провизию. Принесли яиц да молока. Яйцы-то хорошие, све-ежие!» Смеются. В другом месте унтер-офицер, внушая подручному правила дисциплины, говорил: «Пока туда едем, веди себя, знаешь как!... Не срами жандармов! Вот как сдадим, да поедем обратно, ну, там развлекайся, как хочешь, хоть всю дорогу извозчика в шею колоти, все одно—ничего не скажу, веселись!» На опричину похоже. Сходство дополняется еще кой-какими чертами. В пути уже на пароходе один из жандармов затынул: «Боже, царя храни» с какими то особыми прибавлениями, в которых говорится и о «чудесном спасении». Спрашиваю, давно ли сочинены эти прибавления. «Давно: вот я третий год на службе, а уж застал. Всякий вечер полным эскадром поем. Как заря—весь эскадрон на дворе выстраивается, дежурный офицер выйдет, сам запеваает»...

Пристань парох. общ. Самолет. Входим на пароход. «Когда отходит?» спрашиваю у матроса.—Куда вам, вверх?—Нет, вниз, в Кострому.—Этот вверх идет, до Рыбинска. Вниз пойдет в 5 часов». Сходим на пристань. Теперь часов 8 утра; ждать до 5-ти вечера. Входим в каюту-каморку, на пристань. Сложены товары. Стол, скамейки. Садимся. Будем ждать. В каюте тихо. Две старушки, как оказывается вологжанки, сидят тут же, вяжут чулки. Из окна расстилается вид на широкую матушку Волгу. Светло, жарко, река спокойна; кой где лишь легкая рябь ходит, полосами, точь в точь как на картине И. Е. Репина «Бурлаки».

Правый берег высок, против окна пристани здание училища (на рисунке см.), левый низок; виден на нем вокзал, два-три трактира, какие-то лачужки. Невдалеке, у нашего берега шумит еще один пароход, да тянется небольшая барка с дровами.

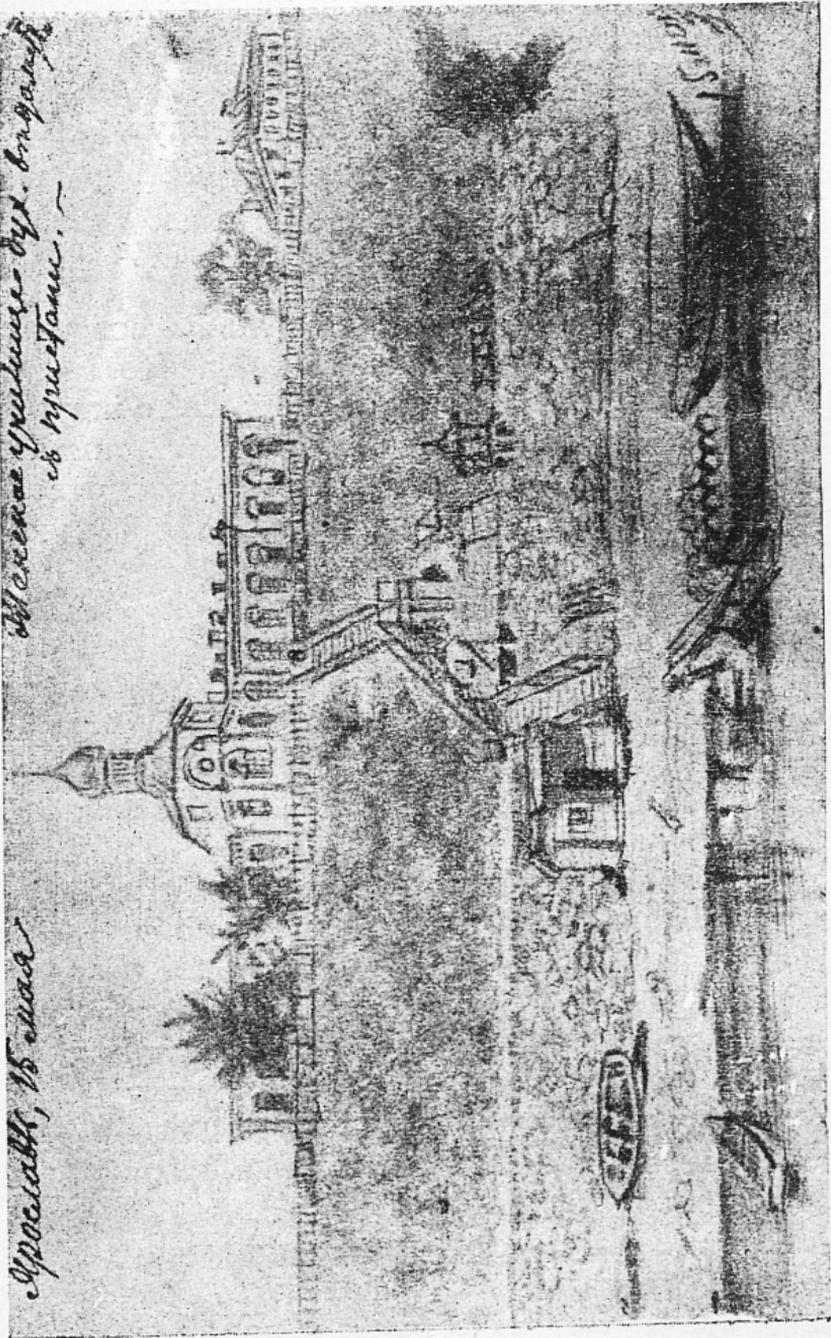
В комнатку являются новые лица. Здоровенный бурлак, фигура, скроенная каким-то особенно нелепым манером, сильная, неуклюжая, с грубым, но очень добродушным лицом, втаскивает на руках какого-то беднягу. Исстрадавшееся, мрачное лицо, довольно красивое; одежда мещанина. Бурлак кладет его на лавку. Вошедшая за ними женщина благодарит бурлака.—Вот горе-то, обращается она к публике—отняло ноги, как есть.

Безногий вздыхает; бурлак потягивается, озирается и уходит. Водворяется тишина. Плещет река, издали однообразно шумит пар из трубы парохода, безногий по временам тяжело вздыхает; вологжанки вяжут свои чулки. Какая-то особая скука царит—«волжская скука». Не особенно хорошо, но и не особенно дурно себя чувствуешь. Ждать долго, картина однообразна, а между тем, смотришь и не оторвешься, как рябит река, как тянется барка; порой заворачивается тяжелый буксир с вереницей барж. Жандармы располагаются спать. Один ложится рядом с вологжанкой. Завязывается разговор. Старухи оказываются бобылками.—Есть дети?—спрашивает жандарм.—Откуда детям быть, коли мы девицы, замужем не бывали.—Отчего?—Богатства нету, а за бедного идти и того хуже. Так и остались.

Теперь едут в Кострому. Жили кое время в Ярославле. Пряжу везут продавать. Жандармы

Апрель, 15 мая

Меленская усадьба - быв. владение
г. Мухоморова.



на вопрос: куда едут, лгут: домой—мол (вообще лгут по должности).—Так, так, родимые. Послужали уж. Чтож, приедете, женитесь. Девочек этих по деревням-то много; за солдата идут, любую бери.

— Идут?

— Как же не идти,—много их. Еще за вашего-то брата охотнее.

Разговор касается будущей судьбы возвращающихся, якобы, солдат. Оказывается, что мужики обижают. «Не давайся, родимый, в обиду, не давайся», советуют бобылки. Вообще, их симпатии очевидно на стороне солдата, хотя из ответов жандармов даже постороннему ясно, кто кого обидит.

— Меня не обидят, потому как я есть жандарм. Сам приду, посмотрю еще, как встретят, а то так и прогоню. Ей Богу, прогоню.—«Так, так, поддакивают старухи,—не давайся».

— Я дамся-то, я? Ну, нет! Я есть жандарм.

— Очень уж обижают вашего брата, а ведь вы за кого служите-то?

— Это верно,—вмешивается другой жандарм,—у их солдат и не человек, ступай себе: ты мол собачьей шерстью оброс. Да, как послужил ты года три, уж ты и чужой.

— Верно, родной, верно,—подтверждают старушки—девицы.

Странно. Не оттого ли это, что старушки мужей не нашли, не приобщились к мужицким хозяйственным интересам.

Насчет обиды тот же жандарм сообщил:

— Да, много есть мужиков, которые обижают нашего брата. Вот хоть бы я к примеру: охотой

я за брата пошел. Обещал он мне нивесть что: «каждый год по 25 руб. присылать буду». А вместо того—7 лет—7 рублей.

Этот несколько симпатичнее, не грозит никого прогнать. Говорит, что по выходе первым делом в деревню. «В деревню я лучше согласен, коли примут меня как следует. Конечно, коли не примут, ну тогда на сторону пойду, еще больше добуду. Да и не пустой же я приду. Слава те, господи! Послужил, нажил кое-что!»

Рисую. Жандармы спят. Безногий вздыхает. Зовет пришедшую с ним женщину и что-то ей шепчет. Та уходит и вскоре возвращается.

— Ох, нету, родимый, нельзя, низко больно, не стащить будет. Обожди уж.

Безногий стонет и опять говорит что-то.

— Нельзя, родной. Вот горе-то, никак не стащить ведь! Да и много ли ты поел. Обожди.

Тяжелый вздох. Подавляющая тягота. Вологжанки тоже вздыхают. У спутницы безногого вид какой-то исстрадавшийся. Трудный путь! Кажется, на богомолье куда-то едут. «Не помогут ли, мол, святые угодники».

Молодой жандарм очень заинтересовался рисунком училища.—Ишь ты, окошки, все есть!.. И березка тоже, вишь. А вот той березки нету.— Будет и та. Подходит один из старших, который запрещал разговаривать с Б. Глуп, нахален, хвастлив (это он собирался «прогнать»); трусит все чего-то (как оказалось, он неграмотен и едет в первый раз; все счета за него ведет другой; тот бывалый, не притесняет).

— Зачем вы это... рис... рисуете?—как то неуверенно произносит он. (Раньше он был

нахален, но когда потерпел неудачу, потерял всю уверенность).

— А так, на память. Ехал-мол, такого-то числа, так вот что видел.

— Нет, я не про то.... а что нельзя рисовать, не полагается

— Пустяки, отвечаю, почему не рисовать.

Отходит.

Вологжанки поднимаются.—Куда?—На другую пристань. Отходит раньше пароход (в 4 часа), да и дешевле. Вваливают на плечи короба с пряжей и идут с пристани. Ну, и мы туда же. Один из жандармов отправляется узнать, есть ли отдельное помещение, чтоб обождать там. Есть, «пожалуйста, господа!». Выстраиваемся обычным порядком: по два жандарма спереди и сзади, мы в середине.

Входим в контору на пристани. Небольшая комнатка. За прилавком сидят два прикащика; один приземистый, с неправильным, несколько обрюзглым лицом, с перекошенной губой. Другой высокий, худощавый старик, седой, с строгим, серьезным лицом. Сидят оба и пишут, по временам прищелкивая на счетах. Сквозь отворенные двери виднеется еще комната, с двуспальной кроватью. Над ней на стенке висит жилет. Из-за дверей с робким любопытством оглядывает нас девчонка лет 13-ти. Окно отворено, с реки тянет легкий ветер; та же рябь ходит по ней, тянутся такие же барки.

Отворяется дверь, входит рабочий; загорелое лицо, грязная рубаха и порты, какие-то туфли надеты на босу-ногу.

— Что тебе?—спрашивает прикащик пониже.

— Денег пожалуйста.

— Тебе зачем?

— Людям отдать.

Прикащик не прерывает своих занятий. Тихо; рабочий переступает с ноги на ногу.

— Ты у меня рубль брал, — произносит старик строго, продолжая считать. — Раз, два, три...

— Обожди, — вскрикивает рабочий как-то неестественно громко.

— Нечего ждать... четыре, пять, шесть...

— Обожди! Никак невозможно; ведь отдам, икономию соблюду и отдам.. Невозможно...

Другой прикащик вынимает рубль и дает. Рабочий скрывается. Тишина.

Через $\frac{1}{4}$ часа входит другой рабочий. Одет в какой-то старый пиджак, ситцевые порты, валенки тоже на босу-ногу.

— Тебе что?

— Денег пожалуйста.

— Зачем? Недавно брал 2 р.

— Людям надо ..

— Что много людей набираешь? Сколько плотить-то?

— Да по четвертаку бабе плачу; с двух-то рублей, сами посудите, много ли же мне то останется

Говорит с какой-то горечью; лицо красивое, большие голубые глаза, нос с горбом, русая борода; выражение растерянное и какое-то горькое.

— Много народу набираешь, — чорта ли они у тебя делают?

— Не поспеть...

— Поспеют; бери поменьше.

— Эх!—вздыхает рабочий;—то-есть в такое дело попал, ей Богу, ну!...

Прикащик дает рубль. Рабочий (оказывается что-то вроде подрядчика) берет деньги и опять, оглянувшись так же растерянно, уходит.

— Ну, ничего. Старайся, — иронически ободряет прикащик, — все то же будет...

— Вот уж беднота-то, — обращается он к сотоварищу, старику, — уж как заведется она, да в передний угол сядет, — не выживешь. А ведь у него и жена работает, не гуляет; стараются оба... Да что! Весь тут...

— Какая работа у него? — спрашиваю.

— А вот, придет пароход, станет дрова брать, — так нагружают они. Он только подает, а уж убирают они сами, на пароходе-то. По два рубля получает.

Не удалось добиться дальнейших разъяснений. Работает ли и он при нагрузке, или только людей наряжает? Что значат слова: «в такое дело попал, сам не рад». По контракту он, что ли? Прикащик отвечает на вопросы как-то так, что ответы как раз относятся совсем не к тому, что спрашиваешь.

— Сам то он работает тоже, или только людей наряжает?

— Эх, немного же и заработает.

— Да сам-то он грузит тоже дрова?

— Не весь же день и занят-то, может тоже и в другом месте наняться...и т. д.

Вот еще разговор в том же роде:

— Чей пароход? спрашивает жандарм.

— Купеческий. Моисеева купца.

— Как же на объявлении написано: купчихи Моисеевой?

— Да, Моисеева купца.

— Как же это написано—вот?

— Товарищеский пароход это... товарищества.

— Так отчего же писано: купчихи Моисеевой?

— Да, купчихи.

Плут, что ли, не разберешь. На всякий-мол, случай, правду будешь говорить, неравно проболтаешься...

Вышли наружу, сели на скамейке. Все так же тихо. Солнце палит, река сверкает, рябит. Рыба какая-то всплыла, большая; спина зачернела, рябь разошлась в обе стороны. Постояла и скрылась опять. Решили от скуки чай пить. Жандарм заварил в трактире. Полчаса за чаем скоротали. Скучновато.

— Пароход идет сверху!

Белые крылья, двигается тихо.

— Ничего! так кажет,—говорит рабочий бурлак, готовя канаты.—Еще как он сюда-то подкатит. Бойко!

Прошел серединой реки мимо пристани и стал поворачивать, чтобы пристать против течения.

Шум колес. Трап спущен. Публика валит на пристань. Мы всходим на пароход. Один из жандармов берет билеты (по 50 к. кажется).

Выбираем места. В 3 классе довольно удобно, место на палубе крытое; скамейки.

Ждать долго. К пароходу подтягивают барку с дровами. Молодые парни начинают швырять оттуда поленья. Давешний рабочий, в валенках, суетится тут же, на пристани, распоряжается,

красивые и безобразные, старые и молодые, но с очевидными следами разврата. Все они бойко тянут удалую песню:—«Вдоль да по матушке по Волге».. Один из тянувших барку бурлаков мигом очутился на нашем пароходе и пошел по выступу с наружной стороны борта. Барка медленно потянулась вдоль нашего парохода. Все в ней сидящие видны совсем близко, и публика с живым интересом наблюдает баб. Молодая солдатка будит мужа:—«Смотри-кось, бабы-то, бабы!»

На носу барки стоит молодой бурлак, у руля другой; обе фигуры в высшей степени замечательные. Передний в ситцевой рубашке, босой, грудь расстегнута; стоит в очень изящной, положительно художественной позе, весь загорелый, оливкового цвета, мускулистый, сухой. Смотрит с каким-то гордым равнодушием. Так и кажется, при взгляде на эту могучую молодую фигуру, что не совсем еще перевелась на Волге-матушке удалая, гордая, хотя и голая воля. У руля фигура в другом роде. Широкоплечий, широкой кости молодец, с толстым, белым и румяным лицом, кудрявый, семинарского типа, в серой блузе, тоже босой. Фигура тоже могучая и как будто несколько интеллигентная.

— Куда это они?

На работу, дрова грузить. Вот видишь, и подрядчик ихний.

Действительно, тут же, на нашем пароходе суетился у тянущего лямку бурлака какой-то человек, одетый почище, по мещански.

— По полтине бабы эти зарабатывают, да и берут их охотнее,—объясняет мне торговец.— Работают лучше, и цена им дешевле.

— Это, я думаю, главное; потому и берут их охотнее, что цена дешевле.

— Нет, положительно я вам объясню, что работают они лучше. Это верно.

— По полтине-то заработают, да тут же вечером по кабакам с солдатами и спустят,—замечает купец;—веселый народ!

Смотрю на баб. Некоторые, особенно сидящие к нашей стороне, положительно подтверждают своей наружностью слова купчины. Две крайние с другой стороны сидят обнявшись, отдельно и по наружности отличаются от товаров; молодые, здоровые, приятные лица. Они как-то стыдливо жмутся друг к дружке; очевидно их несколько стесняет внимание публики. Две другие сидят совсем отдельно—одна на корме, другая на носу.

Свисток. Скоро тронемся; в публике снимают шапки, крестятся.

Тронулись. Берега уходят назад. Вот губернаторский дом, откуда, три года назад, я глядел на Волгу. Шел ледоход, утро было холодное; дальний берег затянулся туманом. По льду пробиралась спасательная лодка и впереди—моложец-прокурор, вызывавший восторг в канцелярии губернатора (читал после, что он получил награду за труды по устройству спасат. станции в Ярославле,—не даром, значит, старался).

Ярославль исчезает. Волга расходится широко в обе стороны. Правый берег понижается; далее возвышенность отбежала от реки, но зато холмы поднимаются все выше.

Верст за десять за Ярославлем, с правой стороны, потянулась на горизонте целая цепь покрытых лесом холмов, левый берег производит

— Да,—подтверждает купец,—харчевня эта достаточно известна... такого тут было. Да и теперь небось, недавно...

— Да-а... А тогда-то в этой самой харчевне так и говорит сиделец-то бывало: «не противься, говорит, ребята, коли что, а то хуже будет». А уж он сам это дело знает, как же!

— Это уж верно.

— Как не верно?! Он свое дело знал. Тут вот подальше место такое есть,—одно слово: пустырь, так тут и-и!

Монастырский человек, очевидно, знает все это побережье отлично. Вообще, он меня заинтересовал. Вот, думаю, с этим бы побеседовать, можно узнать кое-что. Да оказывается только, что врет много.

— Вы, говорю, места-то эти знаете.

— Как не знать, именно знаю. Потому, на самого на меня, думаете, тут не нападали? Ка-акже! Еду я, видите, самым этим местом; вдруг проявился этто один, да за лошадь цоп! Ну, только пристяжная у меня была, так именно уж лошадь, можно сказать. Ну она его и сгребла... как зубами, столько и передами. Да-а!

Очевидно, весь эпизод придуман на живую нитку.

— Нет, я не о том говорю, я насчет того, что вы с этими местами знакомы. Вот вы столько мест называли.

— Да-а, какже... Потому именно... ежели бы я здесь не жил...

— Долго ли здесь жили?

— Долго. Заведение тут у меня было, по откупам еще... Ну и после.

Заговаривает с жандармом.

— Какого полка?

— Жандарм, видите.

— Нет, а раньше-то.

— Прямо с рекрутства.

— Э-э, нет, не так. Так не бывает.

— Нет, бывает.

— Я сам служил солдатом.

— Какого полка?

Мнется.

— 7-ой дивизии. Да—а.

Кажется, опять врет. Судя по возрасту, ему бы не поспеть и в солдатах служить, и по откупам заведение держать.

— Вот монастырь виднеется, так это Бабайки и есть. Половина пути тут и будет. А вот рыбаки эти монастырские, это верно.

Несколько лодок растянулось вдоль реки, очевидно с неводом.

— А что касается рыбы, так совсем ее нету. В день 5—6 раз выезжают, пуда 2 выловят, да все леца, да вот эдакая.

Показывает палец.

— Отчего же бы это? Не пароходы ли распугивают? В затоны бы тогда шла.

— Нет, не пароходы. Так уж это пошло...

— Так отчего же бы? Ведь прежде была же?

— Прежде была, а теперь нет; да—а!

— Какая же причина?

— Да уж так...

При этом смотрит очень глубокомысленно.

Однако, опять соврал. Приходит капитан, кажется немец, или финляндец, и с великим восторгом распространяется об обилии рыбы в затонах,

между тем как монастырский человек положительно утверждал, что рыба «и в затоны не идет», «так уж!»...

— Эй, ты!—раздается вдруг голос—в роде как буфетчик! Да где же ты, выходи! Дай-ко нам... по маленькой.

Высокий торговец, с лукаво ухмыляющейся и как будто наивной рожей, в сущности, должно быть, выжига и кулак первой руки, подходит к столику с смиренной фигурой, в синей чуйке, с загорелым лицом, опущенным почти совершенно белой, светло-русой бородкой.

— Ну—кось!

Минут через пять опять зовут «в роде как буфетчика».

— Что ни рюмку выпьем, то и государству доход,—произносит высокий торговец. Маленький его товарищ смиренно поддакивает кивком головы, подсаживаясь к столику в ожидании своей очереди.

— А ты что же ропщешь,—обращается он к буфетчику.—Ты не ропщи!

— Да что уж вы всякую минуту зовете... Не разорвешься!...

— Ты вот как к публике-то, а? А хозяин-то что скажет? Должен ты публику... Как тебе сказать?...

Он ищет слова пожесточе.

— Удовлетворять должен, вот что! Ты для хозяина должен, как для Господа-бога, а ты вот как? Не—ет, брат, этак нельзя. Этак публика пить не станет, кому убыток? Хозяину убыток! Вот хозяин тебя и прогонит. Ты как думаешь?..

Во все это время он выделывает рожей уморительные гримасы, с каждой фразой точно Америку открывает, приходит в восторг, подмигивает, ухмыляется. Мы с Перцем хохочем и это его еще подбодряет.

Затем он еще несколько раз тревожит «в роде как буфетчика», и тот уже не ропщет, очевидно опасаясь опять подвергнуть купчину на новое извержение «словесного гноя». В одном месте, указывая на берегу какое-то здание, обнесенное стеной, пускается в рассуждение о том, что-мол, «мужик теперь барин, а барин ему служи». Все это милостию Царя-батюшки. Вот-мол какие здания строили, а теперь шалишь! Все эти теоретические рассуждения отзываются сильно практической подкладкой кулачества и наживы; вообще он мне щедринского Юдушку напомнил.

Подъезжаем к Бабаевскому монастырю. Красивый и очень своеобразный вид. Пароход делает круг и опять причаливает по течению к пристани, впрочем только на минуту, чтобы взять пассажиров. На пристани публика из духовных. Молодые послушники с женоподобными лицами, с длинными, точно у женщин, волосами стоят на пристани, склоняясь к воде, кидая камни, вообще забавляясь.

Отчаливаем.

Большой остров.

— Вот она, Волга. В допрежние времена, вот она где настоящая-то Волга была ...

Монастырский человек указывает рукав, отделяющий остров от земли.

— Да, вот она куда шла прежде. А теперь тоже есть и там, только мало туда воды идет.

Самое то русло здесь пролегло. А остров этот большой, хо-ро-ший остров. Сена тут сколько косят, огородины тут, картофию этого, и—и! много!

Пароход бурлит и прорезается все вперед и вперед. Мимо мелькают деревушки. За Бабайками их стало как будто больше. В иных местах виднеются пароходы у пристани. Идет движение,—таскают дрова; молодые парнишки и бабы шмыгают от парохода и к пароходу. Вдоль берега у всякой деревни множество лодок. Порой наш пароход дает свисток; тогда от берега отделяется лодка и выплывает на середину реки. Наши колеса заворачиваются тише и тише, лодка, прыгая по волнам, идущим от парохода, подплывает к борту, гребец ловит веревку, притягивается вплоть к лесенке и снимает у нас одного - двух пассажиров, или к нам сажает нового.

— Вот это у них хорошо,—говорит торговец,—где хошь тебя высадят.

— Да,—подхватывает «в роде как буфетчик». А вот уж «Самолет» (другая соперничающая компания; пристани рядом)—тот не остановится.

— Ну, это вы напрасно,—останавливают тоже.

— Останавливать - то останавливают, да уж это смотря по пассажиру—как одет... А мы так и для них вот (указывает на мужичков)—завсегда остановим.

Ближе к Костроме остановки чаще.

Деревни над Волгой выстраиваются домишками в ряд, вдоль берега. В иных местах одна половина деревни новая, другая, точно обрезал, вся старая.

— Вот уже тут красный петушок пробежал, не иначе,—комментирует монастырский человек.

Деревни выстроены как будто лучше, на вид зажиточнее, чем те, которые виднеются по горизонту из окон вагонов. Есть, впрочем, и тут весьма невзрачные.

Осталось верст 20, хотя монастырский человек, порядочно уже накотившийся, уверяет, что еще «тридцати-то поболее будет».

— Вот Борщи проедем, оттуда 15 верст будет.

Борщи оказываются недалеко.

Двое жандармов спят всю дорогу. Один, самый симпатичный из 4-х, молодой, с физиономией неособенно умной, но зато приятнее других, смотрит все время береговые виды. Унтер-офицер пускается в откровенности. Оказывается, что другой унтер-офицер (нахал) неграмотен, что едем мы на ответственности главным образом его (рассказчика). Между тем, он-то менее всего вмешивался как в наш разговор с Б., так и, вообще, как человек бывалый, не трусит и не делает напрасных стеснений. Рассказывает несколько случаев, мораль которых — не будешь стеснять, можешь получить угощение. С другой стороны — веселее, лучше и для жандарма, т.-е. безопаснее. «А то ведь Бог его знает: едет человек в чужую дальнюю сторону; конечно, может который по своей вине, а может и без вины. Что ж я буду его стеснять. В тоску, пожалуй впадет, задумается; а этак долго ли и до греха какого. «Мне, скажет, одна дорога», — а жандарм в ответе. Недавно возил в Арханг. киевского студента. Веселый, всю дорогу песни пел. Денег много, в дороге сорок рублей издержал. А в Архангельске стал со мной прощаться — заплакал.

Куда, говорит, теперь меня—и не знаю. Ушлют куда-нибудь еще дальше. Конечно, господин молодой, на чужбине скучно».

Вообще, сначала он мне показался довольно симпатичным (это тот самый, который «лучше согласен в деревню»), но после оказалось, что очень уж в нем, при некоторых хороших чертах, испорченности много. Видно, служба таки даром не проходит.

— Вот вы говорили, спрашиваю я, что «не пустой же домой-то придете»? Сколько жалования получаете?

— Да что жалование. Конечно, больше солдатского, да все же мало. Вот за наряд получаем. Каждый наряд (наряд—это у театров напр. за порядком наблюдать, на похоронах и т. д.) три рубля, все равно—хоть одного нужно, хоть весь эскадрон. Половина из этих денег в кружку опускается, половина делится между жандармами. Все к концу службы рублей 20, 25 унесешь (это из кружки).

— А доходы? Вот ведь вы расписок в уплате не берете, значит можете поставить в отчете, как сами хотите...

— Видите, расписки эти прежде требовались, а теперь упразднены. Полагается, что жандарму не подобает этого делать... (последнюю фразу говорит не без апломба).

— И не делают?

— Как вам сказать... Конечно—что осторожно надо. Дурак если—сразу и попадетсЯ; главная причина—круглых итогов не ставить,—все чтобы с копейками выходило. Тогда ничего. А доходы есть, конечно, если с умом. Где на извощиках,

где пароходом поедешь (не полагается это, да дешевле),—все одно к одному,—смотришь, порядочно и останется.

Кострома видна. Оба берега Волги довольно высоки; на правом церковь какая-то, какие-то здания, но самый город рассыпался по левому берегу. Скоро. Публика собирает пожитки; супруга монаст. человека укладывает посуду в какой-то ларец, туда же прячет и деньги, которые успела стащить при общем сочувствии публики у пьяного мужа. Жандармы проснулись. Собираемся. Свисток.

Публика выходит. Мы за нею. На пароходе было довольно вольготно, тут опять парад. У пристани является вопрос—брать ли извозчиков. Полицейский, очень курьезного вида, в каком-то рыжем сюртуке, указывает дом губернатора и советует идти пешком. Действительно близко,—подняться только по лесенке на гору. Неграмотный унт.-офицер трусит. «Нельзя, полагается на извозчике. Ну, как он из окон увидит». Спор. Мы прекращаем эти препирательства.—«Ну, послушайте, какнибудь, да поскорее». Берут извозчиков. Попадаются мальчишки. Я сажусь с откровенным унтер-офицером.

— Собака! ворчит он на другого, хлеба не дает есть!

Это он насчет экономии на извозчика, хотя впрочем и расходы - то оказываются небольшие.

— Эй ты,—покрикивает он на извозчика.—За пятак ты должен на гору рысью везти!

Извозчик, красивый мальчишка, оглядывается с недоумением. Дело в том, что как ни близко к губернат. дому пешком,—но на извозчике

приходится делать объезд, и пятак за троих на гору—цена невероятная.

Подъезжаем.

— Получай на двоих гривеник!

— Что вы? Как можно за гривеник!

Гривеника не оказывается.

— Ну, так и быть! Получай пятиалтынный.

Ну, ну! не разговаривай! По казенной надобности, без ряды!

Входим в дежурную комнату. Большая, мрачная. Окна в сад, под каким-то балконом, который затемняет их еще больше. Большой стол, кажется, приспособленный для того, чтобы служить постелью для дежурного чиновника. Шкап для верхнего платья. Кипы бумаг.

В окна виднеются аллеи, куртина. Вечереет. Мимо окон проходят какие-то дамы. Вскоре затем из потемневшей дорожки является и сам его превосходительство¹⁰. С ним какой-то небольшой господин, одетый по-летнему; они о чем-то беседуют, подходя к куртине. Повременам поднимают головы, смотрят на верхушки высоких деревьев, над которыми сгущается вечерний сумрак. Вслед за ними пробегает юноша в очень изящной летней блузе, с большой красивой собакой. Затем опять какие-то девицы проходят под нависшими ветвями. Мирные картины во вкусе Ауэрбаха и Шпильгагена. Мне почему-то вспоминается „На Высоте“, Ауэрбаха, хоть высота-то еще не из самых высоких. Теперь там, наверху, должно быть, докладывают:

— Ссылные, ваше-ство, политические.

Его превосходительство стряхнет с себя на минуту идиллическое настроение, навеянное

старыми деревьями, и удалится в свой кабинет, чтобы подписать распоряжение об отправке в какую-нибудь часть, где мы запасемся вшами на всю дорогу,—впредь до особого распоряжения.

Жандармы уселись на кипы бумаг. Явился сторож со свечами. Идут расспросы—откуда, где служат и т. д. Молодой жандарм (симпатичный) начинает что-то выписывать на клочках бумаги. Получает выговор от унтер-офицера (грамотного). — Вот уж этого не люблю, так страсть! Ты не забывай, кто ты таков: жандарм ты! Нешто жандарму это прилично? Ну, как войдет. Эх!

Дисциплина не действует,—подчиненный, очевидно, находит аргументацию унт.-офиц. неубедительной и продолжает писать. Потом берет ножницы и начинает нарезать бумагу.

— Ну, уж это так совсем никуда! Положи ножницы! Ты где находишься-то, где ты находишься-то, вспомни! Ты думаешь, не зайдет сюда... Как же! Вот со мной какой случай в Саратове был. Сидим тоже вот этак; думаем,—станет по лестнице спускаться—увидим. А он тут как тут. «Здорово, ребята!» Вот как.

В дверях является господин небольшого роста, полный, с белым круглым лицом. Это делопроизводитель.

— Вы как приехали? На пароходе?

Молчание.

— На пароходе что-ли приехали?

— Так точно,—вырывается нахал.

— Оны, ваше благор., — вмешивается бывалый старичок-сторож,—оны на лошадях приехали.

— На лошадях вы приехали?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Утром еще?

— Никак нет, вечером, ваше брод.

Делопроизводитель скрывается. Жандармы переглядываются. Зачем это ему понадобилось?

Вскоре выносят бумагу. Жандармы ждали квитанции и надеялись тотчас же отправиться на пароход, где им предложили ночлег. Оказывается, что им придется еще проводить нас до части.

Выходим. Первое впечатление по выходе на улицу—поражающая после Питера тишина. Улица пуста. Часов 10. Вечер совсем почти уже спустился над городом. Река потемнела; у берега безмолвно стоят пароходы, барки; работы на судах прекратились. Пристань, еще за полчаса оживленная публикой, высыпавшей встречать пароход, тоже пуста.

— Тихо у вас как!

— Да, вечером у нас тихо.

Хорошо! С Волги веет прохладой, воздух свежий. В окнах зажигаются огни; на том берегу, совсем потонувшем в сумрак, вспыхивают искорки. Над рекой, на барках тоже.

— Далеко ли до части?

— Близко совсем. Пешком можно,—говорит сторож.

Тем лучше. Город посмотрим, да и благодать теперь прогуляться в такую погоду. Успеем еще в части насидеться и за ночь. Идем.

До части, однако, оказывается далеко. Это сторож для жандармов видно старался, чтобы сэкономить плату за извозчика. Проходим через площадь. Стоят какие-то балаганы. Памятник торчит какой-то. Колонна, наверну бюст в монома-

ховой шапке; внизу, у основания колонны—какая-то фигура, во весь рост, в сидячем положении.

— Чей памятник?—спрашивает молодой жандарм.

— Сусанина,—отвечает сторож.

— Это кто же?—обращается опять тот-же жандарм к унт.-офицеру.

— Сусанин,—отвечает тот,— Кострому который спас. Не знаешь разве?

Идем мимо сада с железной решоткой. Гуляние. Длинная, темная аллея; в ней мелькают зонтики, дамские шляпки, белые фуражки кавалеров; несетя какой-то сдержанный, точно шопот...

Вот и часть.

Жандармов отпускают, мы остаемся ночевать в части; отводят камеру, которая, вероятно, в обычное время служит кутузкой для временного задержания пьяных. Пристав, с которым мы беседовали раньше, при встрече, заходит сюда.

— Вы не на сходке ли были?—Нет, да и какая же это сходка? Вечеринка.—Э, нет, не говорите! Вот тут же двое присланы, из здешних. Слышно,—сбор делали на пропаганду... Не надо ли вам чего?—Вот тюфяков бы.—Нет у нас.—Ну, ладно; тогда ничего.

На стенках множество надписей: бродяга такой-то препровождается туда-то и т. д. Одна очень характерна, к сожалению, я не успел ее списать. Хотел это сделать на утро, да рано разбудили и увели. Приблизительно она гласит следующее: такой-то служил управляющим в имении такого-то (какая-то громкая фамилия), такого-то числа получил расчет, «при чем неудовольствий никаких не было, а такого-то числа

вдруг взят и препровождаюсь административным порядком. А скрывать мне перед товарищами-арестантами нечего, и говорю я правду. Вины за собой не знаю никакой».

(В части же нам объявили, что едем мы в Вятку, —впрочем, мы уже знали это раньше).

16 мая. Еще накануне сказали в части, что вероятно придется ждать, пока вернутся жандармы, которые повезли в Вятку 6 человек из Питера. По приезде в тюремный замок подтверждают то же.—Долго ли?—Пожалуй, недельки 1½.

Приятно!

Из части в тюремный замок ехали на извозчике. При препровождении арестантов с жандармами они обязаны брать извозчиков на каз. счет. Полиция же препровождает пешком (с одним городовым); при желании извозчик берется на свой счет. Мы взяли, так как до тюремного замка далеко, а вещи тащить накануне было довольно утомительно. «За 50 коп. нанял», докладывает городовой.

Дорогой разговорились. «Долго пожалуй прождать-то придется вам. Вот разве не пошлют ли с полицейскими».

— «Бывает это разве?»—Бывает.

— Каким путем возят: на пароходе или по почтовому тракту?

— Жандармы, те беспрерывно по почтовому повезут,—с полицейскими же можно по соглашению и на пароходе отправиться.

(После мы узнали, что от Костромы до Вятки на пароходе обойдется едва ли дешевле, чем на почтовых, да и времени потребуется вряд ли меньше).

Остановились у замка. Сошли с извозчика. — Есть с рубля? — спрашиваю у него. — Есть. Городовой, смотрю, заерзал что-то. Извозчик дает сдачу с рубля. Считаю — 40 коп. взял, вместо полтинника. Городовой сконфужен.

— Ну, господа, посидите, — встречают в конторе; — тут ваши тоже проехали, — ждать придется возвращения жандармов... Нет ли чего в узлах: оружия, подпилков? — Нет ничего такого. — Книжек каких не везете ли запрещенных? — Смотрят вещи. — Ну, отведи их в ту же камеру. Весело будет, господа!

Всходим во второй этаж. Действительно весело. 3 окна, комната большая, воздух сравнительно чистый, вид на поля; лес тоже виднеется на горизонте. — Гуляние тут у нас, — поясняет провожатый. Мы довольны.

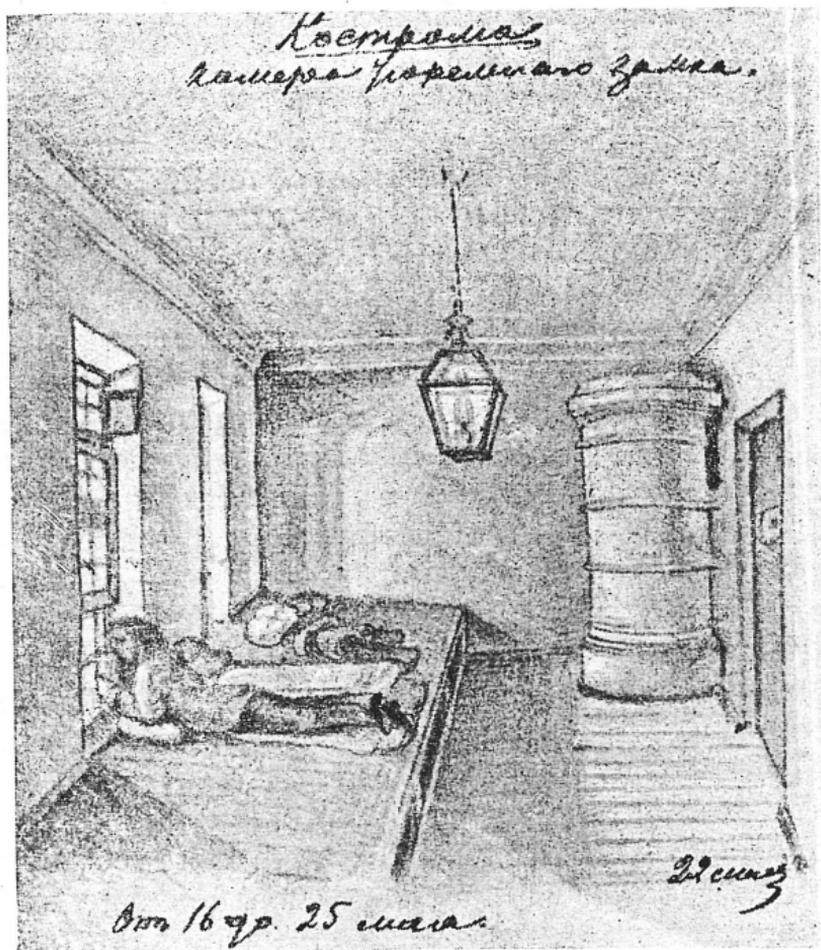
Комнату запирают. «С арестантами-то вы ведь не будете якшаться», — послал нам в догонку напутствие смотритель, когда мы уходили из конторы, и в этом слышалось как бы условие.

Подняли рамы в окнах; с наслаждением вдыхаем запах расцветающих деревьев. Хорошо! Вот только сидеть не придется ли слишком долго.

Осмотрели камеру и нашли надпись: из С.П.Б. в Вятскую губ. политические — Рукин¹¹, Церковницкий¹², Марченко¹³, Векшин¹⁴. На женском отделении две барыни, ехавшие вместе с ними: О. М. Пастухова¹⁵ и К. А. Мурашкинцева¹⁶.

Оказывается, что из Костромы они увезены в два приема: Рукин, Церковницкий и Мурашкинцева 12 мая, остальные 13 мая.

Делаем приблизительный расчет: выехали 12, до Вятки 5 суток езды, день отдыха, назад на



пароходе трое суток, значит к 22-му выедем. Перец сомневается. По его мнению не выехать ранее 25-го.

Является сторож. — Что будете есть? (место казенной пищи нам полагаются порции—10 коп). Говядину прикажете купить, так зажарить можно. Вот которые раньше господа ехали, постоянно заказывали. — «Покамест не надо». — Ну, ладно. Двери-то я запирать не стану, — а вы арестантов-то гоните, чтоб не лезли.

— Ну, гнать не будем, зачем гнать?

— Да зачем им быть то тут?

— Это уж их дело.

Дверей, однако, не запирают, с условием, что мы не станем ходить по камерам.

Под вечер арестантик отворяет двери и вносит парашку; через некоторое время опять является. Мина несколько сконфуженная. «На парашку, господа, пожалуйста». Спрашиваем, как, что, почему? «Завсегда уж... бормочет, потому, из-за того только и бьюсь». Даем. После узнали— с каждого нового получают на парашку, —копейку, две, три, кто сколько может. На нас, как на «господ», очевидно возлагались большие надежды. На следующий день опять является арестантик. «На баню, господа, пожалуйста, потому, как мы воду носим, так вот прислали наши просить». — «Да мы и в бане то у вас не бывали», —смеемся мы. —Это верно... а только, как значит, мы воду носим, так прислали... и т. д. Объясняем, что мы давать ни за что денег не можем, не богаты, едем не для своего удовольствия. Коли уж так водится, то пятак даем. Больше не требуют.

Весь день и вечер продолжались еще впечатления дороги. Открыли окна, наблюдали окружающие картины, вообще наслаждались, тем более, что еще мелькала надежда, основанная на словах городского: «бывает, что и с полицейскими отправляют».

Ночь спали под открытыми окнами.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая потянулись одно за другим. Пришлось высидеть десять дней; наконец только вчера, вечером (т.-е. 24 мая) услышали радостную весть: «Ну, господа, завтра вам в дорогу».

Письмо написали 18 числа. Заявляли смотрителю раньше, обещал вызвать, да пришлось прождать. Наконец, спрашиваем при проверке:—Что же письмо?—Отчего же вы не напомнили давеча?—Ведь напоминали, просили,—нас обещали вызвать. Значит попроси, напомни, да потом опять не забудь напомнить. Дали перьев и чернил. Опять расчет. Письмо может быть получено (если не задержат) 22-го; если наши 23 ответят, то ответ может нас застигнуть в Вятке. Посмотрим.

Скука идет *crescendo*. Смотритель заходил. Производит очень приятное впечатление; видно, человек хороший; «добрый барин у нас»,—говорили сторожа. Арестанты тоже хвалят. Однако, обещал книг и газет, да так на обещании и кончилось. Может опять напоминали мало.

Первое время избавлялся от скуки записыванием да рисованием, но вскоре и этот ресурс стал истощаться. Здесь впечатлений мало. День тянется однообразно. Встаем часов в 7, 8, всегда после поверки (льгота—нас к утренней поверке не будят). Можно бы и раньше вставать, да не знаешь и то, что с временем делать. Чай. Затем в окно больше смотрим. Надоело. Дни хорошие, светлые, порой жаркие. Ветерок когда подымет, заворочают крыльями три ветряные мельницы,—повертятся, повертятся, да и станут. Почта по тракту проедет (вообще движения мало), солдаты пройдут на работу (на горе, у леса лагерь начали строить), стадо прогонят еще ранее, и вот день установился. Затем, он разбивается в тюрьме на несколько периодов. Часов около 12 раздается внизу: «пошел за хлебом!» — «За хлебом пошел!»—точно эхо отдается на нашем корридоре.

Движение. Затем вскоре: «пошел обедать!» Арестанты бегут вниз с чашками. Затем после обеда, до чаю, камеры запираются, кроме нашей.

— Теперь вам, господа, по корридору гулять можно,—объявляет зачем-то сторож, хотя мы гуляли и ранее.

Часа в 4 или иногда ранее, опять слышно внизу: «пошел за кипятком!» и у нас: «за кипятком пошел!» Чай вечерний. Затем: «пошел за квасом!»; далее: «ужинать пошел!» После ужина, часов около 7-ми: «пошел по местам!» и наконец, минут через 5: «становись на поверку!» Два-три солдата, помощник смотрителя, иногда офицер караульный, обходят камеры, записывая, сколько человек в каждой, и камеры запираются на ночь (перед ужином еще вносятся парашки и парашечник обходит камеры с купоросом в откинутой поле халата).

День кончен.

Остается серый промежуток; камеры заперты, на корридоре тихо; временем только пройдет сторож, заглянет в камеры, прикрикнет иногда:

— Вы что делаете? Ах вы, негодяи! Забыли, где сидите-то?

— Да мы (имя рек) немножко... слышится из глубины камеры...

— Немножко-о! Вот я вас! Я уж третий раз подхожу, не вижу думаешь?..

Работают, должно быть, не в указанное время. Вообще, здесь кто умеет—работает. Есть портные, сапожники; другие гильзы набивают, по заказу в лавочки. «На базар тоже носим,—говорил мне сторож. Полициймейстер новый запретил—было работать их, да «барин» опять схлопотал».

сварит в котелке и дальше. Заседатель встретится—за милостыней подойдет. Вольготно. А вот как нашалят где-нибудь, бабу, что ли, прирежут или ограбят кого,—тогда много бродней перехватывают. А то ничего.

Сортир вроде как клуб. Есть такие любители, особенно из молодых парнишек,—весь день на окне в сортире торчат. И по двору-то ходят мало, хотя разрешено. Разговоры у этих клубных завсегдатаев все вокруг одной темы вертятся: тюрьма-то за городом почти, у кладбища, да и дальше кусты все пошли—арена весьма удобная для эротиических походов, которые и служат неисчерпаемым источником наблюдений для завсегдатаев.

— Это кто же с ним пошел?

— Да это Аксюта, или Агафья и т. д. не узнал разве?

Публика пойдет под вечер гулять,—тоже наблюдают.

— Слышь, вон Федор Иванович с женой идет. Жена то, вишь, евоная в шляпке тоже!..

— Да, брат, ты что же думал. У его, брат жена, такую твою мать, небось!.. и т. д.

Под вечер, перед поверкой, народу набирается много. Острыят, смеются...

— Эх, ты!—обращается молодой парень к арестанту лет 30, с загорелым энергичным лицом.— Что ж надо мной то смеялся,—сам помолиться-то после ужина не успел, а уж прибежал.

— Помолиться?! гляди я еще и то с Богом три года не считался. Нет ли еще за ним моего то, замоленного...

— Посчитайся-ко, так небось еще тебе три года выйдет на коленках-то ползать!

— Что ж! Как выйдет по расчету, так и начну жарить!

Есть между арест. и интеллигентные. Доброволец какой-то весьма важно расхаживает по



двору в арестантской шинели и в белой офицерской фуражке. Рассказывали сторожа, — оказывается, «художник» большой руки. Еще один, Оржевский какой-то, неизвестно за что. Наконец ходил тоже по двору в своем платье пересыльный «от общества».

«Хозяйничать в обществе-то захотел, пояснял Перцу арестантик, вот его и услали». Лицо энергичное, бойкое. Вообще, много бы можно посмотреть интересного, да приходится на все смотреть поверху, «из-за решетки».

Под конец нас стеснялись гораздо меньше. «Очень уж нас притесняют теперь» — говорил Перцу «каторжан», разумея нас и себя заодно (он тоже пересылается и говорил по тому поводу, что нас долго держат).

Из окна тоже не особенно много высмотришь. Вот только за стеной тотчас дом строят. Кажись, артель работает и живут тут же, в деревянном домике (на рисунке крайний слева). Старик какой-то, седой совсем, староста, должно быть, артельный. Серьезен очень, работает больше. Видели, даже в праздник копался около дерева. День работают дружно, вечером пошашают, ужинать в дом уходят; потом выйдут на холодок. Молодые беседуют; старик все над чем-нибудь копается, прилаживает то или другое. В общую беседу вмешивается редко; случалось видеть его разговаривающим, но всегда с одним, на стороне, очевидно по делу. Лысый еще какой-то, тоже старик, — тот всякий вечер молится, обратившись к востоку. Долго молится, крестится. Затем все отправляются в баню спать (направо, крайняя на рисунке). Праздник случился (троицы и духов день). С утра разбрелись (кроме старика), а к середине дня некоторые (двое или трое, далеко не все) явились выпивши. Возгласы стали раздаваться. — «Митька, Мить!... такую твою мать! Слышь!» и т. д. Вообще, — нецелесообразные звуки и такие же движения, — на дрова зачем-то полезет, все Митьку зовет.

*

Все скучнее. 21-е прошло. Ночью явился полицмейстер, — зашел в 2 камеры, в том числе в нашу. — Скоро ли? — Ждали жандармов сегодня.

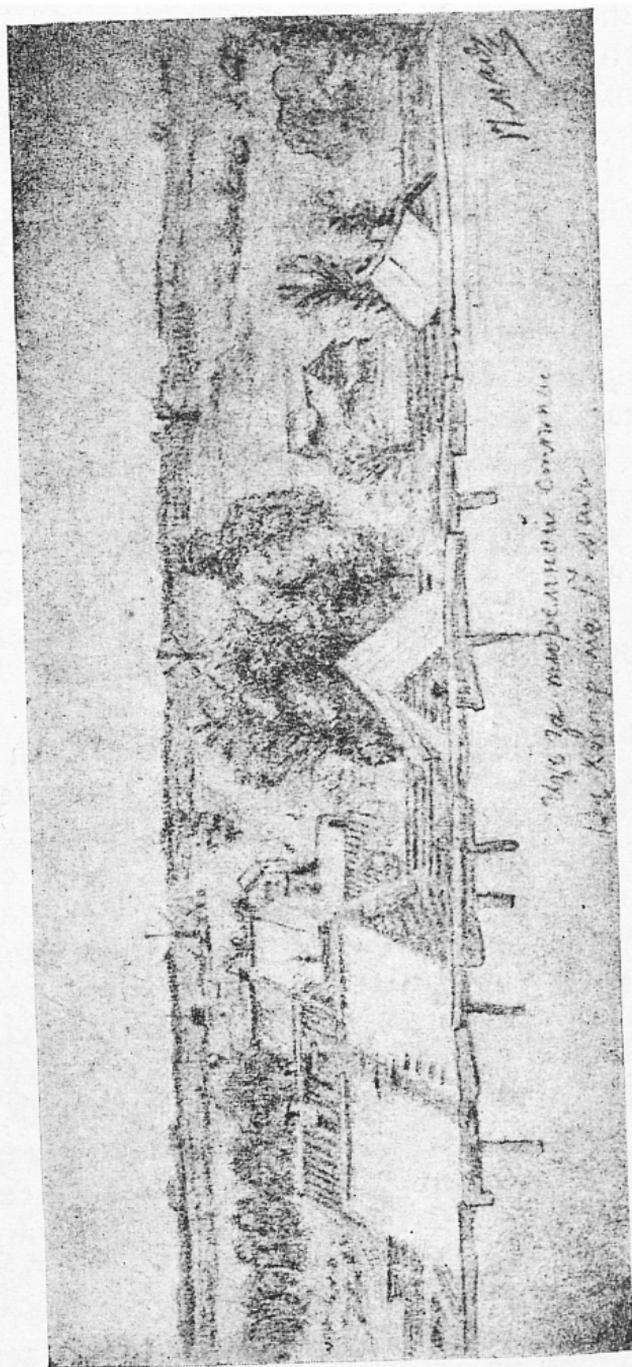
Деньги на вас получены, все готово. Спросил, знаем ли Рябинина¹⁷. Мы догадались, что это фамилия другого пересыльного, которого привезли вскоре после нас (тоже политический, из Петербурга*.

*

22, 23, 24-ое—все не едем. Что значит? Не знали, что и думать, пришла даже мысль, уже не задержал ли нас маленький эпизод. В Костроме, вот уже два года (кажется) содержится политический арестант Белосветов, по отзывам, господин очень симпатичный. Захотелось послать поклон. Купили чаю и сахару, отдали сторожу, на обороте бумажки написали: «Белосв.¹⁸ привет от незнакомых товарищей таких-то». История было затеялась. Откуда узнали, что он здесь? Отвечать было очень легко, но мы сказали просто, — знаем мол, — можно, — так передайте. Раньше знакомы не были. Пошло официальным порядком, через смотрителя. В конце концов чай передали, и сторож принес поклон, — благодарит-мол за память.

Наконец-то! Узнали, что завтра, часов в 11 укатим. Весть эта застала в одну из скверных минут. Досада, даже злость стала разбирать. Швыряют, точно недушевленный предмет, да еще этакие вот сюрпризы! Главное — не знаешь, что делается с дорогими людьми. Скорее бы уж туда, в Вятку, к письму, наконец, к концу этой скверной неопределенности. Ну, поедem таки!

* Оставлен в Вятке, где мы его и видели. Здесь сторожа жаловались — неуживчив-мол. На нас произвел приятное впечатление: интеллигентное, неглупое, правда, как будто нервное лицо.



При поверке, вечером, к нам не зашли, а на утро сегодня, 25 мая (я схватился еще до поверки, рано) помощник смотрителя подтверждает: «в поход вам сегодня!»

Ура! Собираемся. Сварили в кипятке десятка $1\frac{1}{2}$ яиц; часть оставляем на дорогу. Вещи увязали, ждем.

В наст. мгновение, когда дописываю эти строки, — час, я думаю, 11-тый. Сидим на биваках. Скоро ли? Прощай, Кострома, или вернее, прощай наша 3-хонная камера! Найду ли письмо в Вятке? Кто уже на воле, где В. Н.¹⁹, что с корр⁶. Не едут ли и они где-нибудь в самое это время? Мам.²⁰ Туци²¹, Ник⁷, — все узнаем скоро, где кто. Итак, ура, в дорогу! К Д.²² и С.⁵ напишем. Наконец, можно будет исполнить обещание писать, нарушенное невольно. Посмотрим!



Пообождали, поспали, все нет. Выехали только часа в 4. Ну, да все же выехали, наконец. Дорога, лесок больше по сторонам. Ухабисто. Всю ночь шел дождик, лужи, рытвины. Все же станция мелькает за станцией и не заметишь. Одна смена картин чего стоит, да и кое-когда разговоры послушаешь не тюремные, увидишь хоть проездом чтонибудь интересное. Первая станция (Дровянская) 17 верст. Интересного мало. 2-я Антипинская. Ямщики просят на чаек. Не даем, да и просят, хоть назойливо, но без особенной надежды на успех. С Антипинской станции ямщик сел старик, интересный. Бывалый видно: про Аршаву говорил, про Киевск. губ. Очевидно, большой любитель «хлебопашества». Все сворачивает разговор на эту тему. Вот в Ц. Польск. земля—

хорошая есть земля. В Киевской губернии назем хороший и т. д. Жандарм тоже интересуется этим вопросом, хотя знаний в этой области обнаруживает мало. Полицейский (с нами едут по жандарму и по городовому) несколько лучше знаком с этим делом.

Завод разрушенный встретился на 38-ой версте за Костромой. Забор с каменными колоннами, в глубине виднеется разрушенное наполовину каменное здание. Всюду пробивается зелень, поглощающая остатки построек.

Винный завод был, оказывается.

— Что, куда немец-то девался, хозяин? Неизвестно тут у вас?— спрашивает полицейский.

— Неизвестно.

— Вот ведь человек много имел, так больше еще захотелось. Какой завод был, лесу сколько.

— Хлебопашество какое было заведено, — сворачивает ямщик на свою любимую тему, — вот видишь, указывает он кнутовищем, — поля-то все его, далеко еще, — все его было. Вот к меже подъедем уж, так укажу, где конец земли-то его.

— С чего же это все прахом пошло? спрашиваю.

— Видите, — поясняет полицейский, — затор он большой сделал на заводе, а полиция и накрыла.

— Так чтож, неужели при таких владениях штрафа не мог выдержать?

— Кто его знает, — не мог видно.

— Э, нет, — замечает ямщик, — как штрафа не выдержать. Да уж у его раньше тут кое-что запуталось, а тут еще штраф этот и порешил в конец...

— Так и не знаете, где он теперь? Пропал, что ли? Уехал куда?— спрашивает жандарм.

— Может и костей его уже нет,—произносит полицейский задумчиво.—А завод кто купил?

— Ямщик называет фамилию счастливица, которого звезда всплывает над этой мрачной хищнически-финансовой драмой.

— Вот это поле тоже его.

Поле вспахано.

— А ведь земля-то неважная.

— Земля бы ничего, земля хорошая, да на-зему нет, не кладут навозу.

— Почему же не кладут?

— Земля-то, видишь, в ренду сдается, на год, на один, так и неохота мужику наземить-то. Этот-то год она у него, а на тот другому отдадут. Так и пашут, что даст, то и ладно.

— Известно уж, аренда,—говорит полицейский,—на свою то полосу мужичок навозу-то на-таскает небось.

— На свою, конечно, положит уж сколько-нибудь (?)

Мимо лесу поехали. Попалось место, вырубленное сплошь, на пространстве около десятины. Торчат черные обгорелые пни, место огорожено между пнями по земле пробивается зелень.

— Это что же такое?—спрашивает жандарм.

— Лес, видишь, выжжен. Поле сделано.

— Вот так поле! Что же с него будет-ту?

— А на ём уже и пшеница посеяна. Еще по-смотри, коли Бог даст, какая пшеница будет, сама повалится, без ветру.

— Ну, и выдумают,—наивничает жандарм.— Господи! Сколько лесу испортили.

Ямщик смеется в бороду.

— Чего испортили! — вмешивается полицейский, лес этот много ли стоил, а ему урожай тут будет хороший.

— И без навозу, — добавляет жандарм; очевидно, он только прикидывается наивным, так это, — не мужик-мол, и не знаю как-что.

— Вот, вот, до дела-то и договорился, — обращившись ямщик и весело улыбается во все широкое добродушное лицо. — Еще без навозу-то лет пять тут земля-то матушка урожай давать будет. Менять только надобно посевы.

— А что сеять станут? спрашиваю.

— Пшеницу вот посеяли, а на тот год рожь посеют, потом горох, потом овес, а там опять горох, да и шабаш (кажется не переврал порядок).

— Что ж, потом так и бросят? — Ямщик не слышал вопроса; за него ответил полицейский:

— Пни эти сгниют, земля мягче станет, лет через 7-8 вспашут ее; новь называется тогда.

Кажется врет. Дальше другой ямщик рассказывал тоже о подсечном хозяйстве: севооборот другой: горох, рожь, овес, горох...

— А там, говорит, и бросят; опять березкой да ельничком порастет, и опять лес на этом месте станет (это было севернее).

Станция Судиславль (заштатный город), потом Дубровская (73 в. от Костромы). Ехали ночью. Ночи недлинные; закат еще не потемнеет совсем, а уж на востоке заря забрезжит. Собственно ночи промежутки часа 3-4.

Шатры какие-то у дороги попались, под деревьями. Закрыты с двух сторон и сверху; внутри телеги крытые поставлены и опять место загоро-

жено холстинами да рогожами. В шатрах людей не видно; спят за загородками.

— Цыганы это, — поясняет ямщик; — снялись уже с зимовок со своих.

— Что, — воруют они тут у вас?

— Зачем воровать, — говорит полицейский весьма уверенно. — Смирно живут.

— А так они у нас смирно живут, что где лошадь уведут, где две; тройка попадетя коли, — тройку, а и пятерка, — так они и ту не оставят. А вот на зиму в деревни пойдут, зимовать. Избу снимут по согласию, рублей за 10. Ну, тогда смирно живут, то есть так даже, что лучше наших. Заедешь к ним по знакомству ежели, примут тебя, накормят, угостят в лучшем виде. И по соседству они тогда люди хорошие. А вот это лошади ихние пасутся.

У краев дороги, под лесом, лошади ходят, лошади хорошие, каждая покрыта попоной. Невдалеке вьется дымок.



— Цыгане это, тодешней зимовки.

— Это вот пастухи ихние.

Утро. Свежо. У костра виднеются трое цыган. Когда мы проезжали мимо, они проснулись; приподнялись три головы, в каких-то круглых (в роде малороссийских) шапках; при сером полусвете утра я рассмотрел три красивые, смуглые лица. Головы повернулись вслед за нами и затем опять припали к росистой траве.

Странное впечатление произвела на меня эта встреча. Зачем забрело сюда это странное, вечно бродячее племя. И ведь странно, что ко всему применяются они,—применились же к суровому климату севера,—не применяются только к оседлой жизни. И сюда-то, на север не затем ли они забрели, что здесь привольнее. Помнится в последние годы у нас, на юго-западе их становилось все меньше. Не сюда ли и бегут они из стран частной собственности, где каждый клочок земли, каждый уголок луга или леса нашел уже своего владельца; здесь им привольнее, здесь много мирской неделеной в наследственную собственность земли, много лугов, много леса, который жгут полосами, да потом и «шабашат», кидают на волю. «Опять-мол лес станет». Здесь есть им где и лошадок пустить, не боясь потравы и штрафов, да и порядки полегче. За все эти блага, правда, приходится им смирять на зиму свои дикие воровские инстинкты и становиться «хорошими по соседству людьми».

*

— Даму-то мы вот в Судиславле встретили, мягкая такая, спрашивает жанд.,—проезжала тут она, у вас-то?

— Толстая? Как же, проезжала. Недавно тудь-ту ехала, до Кадья никак, а даве назад поехала. Из Костромы она..

— Как звать-то ее, не знаете?

— Не знаю, Бог ее знает. В книге записано.

— Зачем вам, спрашиваю, фамилия-то ее?

— А так... Смотрела она на нас даве, так вот... наша ведь она—из Костромы..

— Так что ж?

— Неблагоприятно смотрела очень, так узнать бы фамилию.

— Вот, думаю, что! Даром, что в Костроме служит, а не в Питере, даром, что и рожа немная, а шпионская выправка есть.

Ночь прошла, солнце впереди нас подымается, на восток все едем. Утро свежее, холодное. Роса белеет, точно иней. Местами белые полосы ходят, как тучки. «Туман это, или роса?» спрашивает жандарм.

— Роса это, день ясный будет, хороший.

Действительно, хороший день. Местность тоже хорошая. Деревни попадаются довольно часто, городов мало, да и те неважные. Судиславль проехали (50 в. от Костр., заштатный гор.), затем Кадый в 140 вер. от Костр., совсем лядаший городишко.

— Вот в Кадый город приедем, курочку велите зажарить,—шутит ямщик.

— Ой? Есть разве?—спрашивает жандарм.

— Какое! Ситнова и то еще достать ли, а колбасы и не заводи. Вот у нас город какой.

— Да уж не даром говорится: Буй* да Ка-дуй чорт три года искал, трое лаптей истаскал, да и посеичас в этих городах чорта нет. Не нашел, значит.

Вот и самый Кадый, не то городок, не то деревня. Станция, впрочем, хорошая,—комната большая, вроде гостиной; зеркало, горшки с цветами. Ситного таки достали, яиц сварили, и дальше.

Дорога хорошая, веселая. Лес стал крупнее (у Костромы лешишко плохой все, мелкий). Через

* Буй тоже город (уездный) Костр. губ.

реку какую-то переправлялись (забыл название). Паром. На другом берегу лес стоит, высокий, темный. На берегу повалено тоже много лесу. У перевоза избушка, белая вся, новая, — сторож живет.

Причалили к берегу; подъем крутой, лошади дергают прямо с паррома и сразу выхватывают вихрем на гребень кручи. Дорога берегом идет, стена сосен справа стоит, шум идет от лесу. Потом повернули вправо, в волоком поехали (волоком зовут здесь дорогу по лесу).

— А что, водятся у вас тут медведи в лесу?

— Много есть.

— Что небось, коров дерут, лошадей?

— Как же, бывает, зимой когда...

— А людей?

— И людей тоже, это уж рассердится когда...

А рассердится он, так хуже турки бывает. Только теперь его не увидишь, — людей боится, в глушь идет, подальше.

Под вечер уже к Макарью (Макарьев—уездн. гор.) подъезжать стали. Недалеко от Мак. переправа через Нею-реку. Погода насупилась. Тучи поднялись и ветер пошел резкий, холодный, особенно у реки. Жандарм надевает пальто.

«Сиверко, говорит; и что это за сторона за такая этот Архангельск, как ветер оттуда подует, такой сивер пойдет, страсть». У переправы народу много.—Что это,—не базар ли у Макарья? Народ оттуда идет.

— Хлеб покупали.

За рекой дорога селом пошла, Зарецким. Дома новые все. «Пожар недавно был, не иначе».

В Макарьев въехали. Город довольно большой, растянулся широко. Дома попадаются каменные,

купецкие дочери в окна смотрят. Интеллигенции не видно; на базаре мужики все, бородачи да купцы. Чисто русский город.

— Гляди, городской-то, городской! Вот еще какие бывают!

Среди базара, в кучке здоровенных борода-тых мужиков, стоит высокий старик в полицейской форме. Вид патриарха, борода седая, до пояса, в руках громадная палка. Картина оригинальная.

За Макарьем дорога очень живописная, вдоль Унжи-реки. Мы ехали по высокому, правому берегу. Река извивается множеством изгибов по широкому заливному пространству; где луга поемные, где лесок по островам; далекий берег виден, весь сплошь лесом покрыт частым, но, кажется, мелким. Вся эта широкая поемная площадь изрезана очень живописно изгибами Унжи; затем она круто подымается возвышенным берегом, по краю которого пролегла с горки на горку наша дорога. По Унже много плотов; в иных местах вся река сплошь плотами занята, и только в середине проход узкой лентой виднеется.

— А что, унжакков тут не видно?—спрашиваю.

— Унжаки, все уже в Волгу по полой воде спущены,—теперь их нет. А вон, гляди, один остался, у берега стоит.

Оказывается—унжак просто барка, с широким носом, сидит глубоко в воде; над уровнем воды оконца прорезаны. На Неве таких много.

— Что это у вас часовни понастроены: как горка какая, так тут, на вершине и часовню выстроят.

— А это, видишь ты, мощи преподобного Макария несли, так где отдохнуть становились, тут и часовни ставили.

— Куда же несли-то их?

— А из Старого Макария в Новый.

Унженский разлив в сторону отбежал и скрылся; дорога полями пошла, где перелеском.

— Вот тут скотина одна пасется, без пастухов. С Макарьевского уезда вплоть до Вятки нигде вы пастухов не увидите,—говорит полицейский.*

— Это отчего?

— А оттого, что тут поля так уж поделены. Земля на три поля делится—яровое, озимое и паровое, и уж всем хозяевам полосы так к одному месту и отводятся,—все яровые поля вместе, озимые тоже, ну и пар. Так они посевы-ту общей загородкой обгородят, а скотину на пар выпускают. Ходи!

— А у вас как?

— А у нас полосы отдельно раскиданы, каждую не загородишь.

Поехали по Ивановскому селу. Возок попался на встречу; на облучке цыганенок черный за кучера; в возке старик сидит, в синем распашном балахоне, широком, точно у священника. Борода седая, окладистая, длинная, волосы тоже седые. Лицо смуглое, вид очень почтенный. Поклонился.

— Цыган это, старик-от проехал. К Макарию едет (у въезда в Макарьев опять видели шатер; вокруг него собралась кучка мужиков, с большим интересом смотревших на цыган; те очень равнодушно относились к этой добродушной назойливости).—Начальник, что-ли ихний.

У Старого Макария опять Унжа к дороге подошла. За селом недалеко станция Унженская;

* Верно только отчасти.

к ней река крутой лукой подбежала. «Не здесь ли перевоз через Унжу будет?»

— Нет, еще далеко. Верст сто дорога-то по Унже бежит, а перевоз только за Высоковской станцией.

На Унженской станции первое затруднение насчет лошадей вышло. Взяли тройку земских.

Выехали к вечеру, в дороге ночь провели. Опять по Унже поехали, а там опять на гору поднялись, повернули и река скрылась. Сначала ехать было скверно, тесно. Провожатые кой-как полусидя дремлют. Я не спал опять, иногда только сидя вздремнешь будто, забудешься, да тут же на ухабе где-нибудь голову встряхнет и проснешься. Проснувшись раз таким же образом, вижу, ямщик повернулся ко мне и смотрит на меня пристально. Когда я открыл глаза, он посмотрел еще некоторое время так же внимательно и потом медленно повернулся к лошадям. Это повторилось несколько раз. Лицо умное, взгляд пыливый, вдумчивый. Меня он заинтересовал также, и я решил потолковать с ним. Стали волоком на гору подыматься, песком дорога пошла, из телеги вышли; стали назад садиться, я на облучок полез к ямщику.

— Плохо вам будет, — говорит жандарм, которому эта идея, очевидно, сильно не по сердцу прилась.

— Ничего не плохо, — говорит ямщик, очищая мне место. — Тут получше еще будет, просторнее-от.

— Вы хоть ноги-ту сюда спустите.

— Нет, это неудобно. Так лучше.

Поехали. Лес поднялся повыше. — Волков, говорит ямщик, много есть. Про волков заговорили

сначала; потом беседа стала интересней. Вообще, эта ночь, хотя я ее вторую уже не спал на пролет, оставила во мне самое яркое, хорошее впечатление. Ясно; по обе стороны дороги ельничек пошел невысокий, луна над ним плывет, точно по самым верхушкам перекачивается, колокольчик позванивает, да еще собеседник хороший, умный.

— Недавно тут тоже ваших провезли, — две тройки. Барышню везли, молоденькая такая, хорошая, веселая...

Это он про Мурашкинцеву¹⁶. Вообще несколько раз в дороге приходилось подобные отзывы слышать. Все Мурашкинцеву вспоминают. Нравится.

— Дозвольте вас спросить: вы-то из каких-же будете, какого звания люди?

Я понял этот вопрос в общем смысле, т.-е. кого это возят-то этак? — и ответил совсем точно:

— Студенты, говорю, слышали?

— Слышали, слышали. А на службе на какой были?

— Не были на службе, — вольные были.

— Вольные... так, так. Все же при деле были при каком?

Объясняю, что был при газетном деле. Знает газеты.

Сделал несколько вопросов: где жили, не брат ли это другой-то? Семья есть ли? и т. д.; все это как-то не зря, с большим участием, даже с каким-то интересом; вообще, хотя по содержанию разговор не представлял ничего особенного, но тон его мне очень понравился; пожалуй, не приходилось еще говорить-то этак; чувствовалась связь какая-то; интерес в вопросах, и отвечать

интересно. Рассказал: так мол и так—было нас столько-то; всех мужчин забрали, баб одних да ребенка оставили. «Экое дело!» Часто после незначительного, повидимому, вопроса, он покачивал головой; «так, так», скажет и задумается, точно обдумывает слышанное в связи с тем, что думалось раньше.

Я был осторожен, и пожалуй чересчур уже сдержан. Не хотелось уже очень с колеи сбиться, сказать что-нибудь, что могло казаться мне интересным, а ему не было бы нужно. Часто приходилось испытывать это ранее. Поэтому я довольствовался ответами на прямые вопросы. Я чувствовал себя, так сказать, «на пути», и будь время, я бы, конечно, разговорился «по душе» и с интересом, но от неумения шел ошупью и тихо.

Помолчали. Выехали из волоки, полем поехали. Ямщик думал; я тоже; вслушивался в звон колокольчика, да еще всегда, когда приходится на лошадях ночью ехать, мне все сзади голоса какие-то смутные слышатся. Все кто-то говорит, будто,—несколько голосов, далеко, далеко—сзади в сумраке. И такое знакомое что-то хорошее, да не разберешь—что. И слушаешь, слушаешь, а тут и картины пойдут одна за другой, лица знакомые, дорогие люди, что остались там сзади по разным местам, далеко. И не сплю я ночью в дороге от этого.

Ямщик повернулся слегка в мою сторону, посмотрел внимательно, искоса, очевидно, спросить что-то захотел. Я знал даже—что: «за что-мол везут-то вас в чужую дальнюю сторону?»—Да, так и не спросил. Я тоже смолчал.

Помолчали еще, да о политике и заговорили. Отчего наш государь последнего городу у турок

взять не смог? Почему у турок золото было, а у нас нет? Отчего бумажки падают в цене?

Объяснил, кажется, довольно понятно. „Так, так“, говорит.

Правду сказать, это уже мало было интересно. Политика—как бы ни было, дело далекое. „Слава Богу, замирение сделали“ — вот единственное действительно глубоко искреннее восклицание, остальное все отзывалось простым любопытством. Дальше и совсем про белую Арапию пошло. Про Китай расспрашивать стал (начал с того, что мол китайский-то нашему сродственник выходит).

Вижу—станция недалеко, все равно, другого разговора не заведешь, да и жандарм ёрзает сзади, не спится ему, боится чего-то. Стал отвечать. Рассказал про Китай, про тесноту в нем, как там от тесноты землю вглубь продают, на снос; про водные города на Янтсекианге. Слушал с интересом, да мне этот разговор уже не нравился. Чем в самом деле от рассказов про белую Арапию какого-нибудь служивого он отличается? Тем, что мои чудеса—истинные, а служивый наврет много; но во 1-х, это вопрос одного праздного любопытства, а во 2-х, у него нет мерки, чтобы отличить мои истинные чудеса от лживых. Далеко ведь Китай-то.

Подъехали к станции. „Прощайте“, говорю.— „Прощайте, родной, дай Бог счастливее Вам“. Руку протянул сам. „Ну, ну, ладно, прощайте уж“, ворчит жандарм.

*

На утро миновали Фатьяновскую станцию, к Высоковской подъезжать стали. Опять Унжа зазмеилась вправо. Движение тут по ней шло.

Плоты плавил; плоты эти длинные, связаны по несколько так, что весь плот изгибаться может. Два руля—спереди и сзади; будочка к носу поближе поставлена. Издали по 2 человека, а где и по одному виднеются. По дороге народу много идет, кто с котелком, с кошелками из бересты. „С реки это идут, лес плавил в Волгу“. Бабы тоже попадают.

К реке ближе дорога подвинулась.—Гляди, там вон, на плоту баба веслом как орудует, говорит жандарм,—неуж и они тоже к Волге на плотях ходят?

— Как же! Еще у нас редкий мужик без бабы своей становится. Мужик да баба, так вдвоем и гонят.

— Что ж, она ему много ли поможет?

— Коли не поможет! Она всю работу может справиться. Еще которая так и лес кошмит на берегу-то.

— Как это: кошмит-то?

— Кошмит,—плоты сшивает значит, бревна заворачивает, гляди, как ловко.

Лесная сторона все, леса хорошие.

— Свой лес гоняете, или в работниках с чужим ходите?

— Бывает и свой, а то в работниках больше.

— Выгодно?

— Год на год не приходится. Вот как-то наши свой погнали. Коротомных-то денег никак по 3 р. 14 к. заплатили в казну-ту, а на Волге лес



этот по 3 р. пошел. По 14 коп. (с бревна должно быть) своих еще и скортомили.

*

— Вот тут избы хорошо строят, — говорит жандарм. — Крыши-те хорошие, окна большие. А вот дальше туда в Вятской губ. совсем плохо строятся. Где и лес есть, и то плохо строятся.

— Неохочи строиться они, — говорит ямщик.

— Линтяи, вот что, линь, братец, главное дело (в Костр. губ. говорят и вместо е, — линь-лень). Уж так здесь у них серо, так серо и-и! просто не смотрел бы, как есть мужики, си-ивые!

Случается, впрочем, жандарм и похвалит народ. Попадаются мужички нам навстречу, телеги в сторону сворачивают, шапки снимают.

Жандарм умиляется.

— Жил это я в Питере. Поверите, — семь лет не бывал, да вовсе неохота и побывать-то; не люблю этот край до бесконечности. Вот здесь сторона, так сторона! Людишки это на лошадишках на своих издиют, навстречу попадают, всякий тебе кланяется, честь отдает, одно слово — самая приятная сторона.

— Запуганы, говорю, очень.

— Нет, не то, что запуганы (не нравится ему это грубое объяснение), а только что народ уж такой.. великодушной народ, вот что, великодушной народ здесь.

— Оттого это, — вмешивается полицейский, — что с колокольчиком едем. думают не начальство ли.

— Зимой это мы ехали. Снегу страсть навалило; где она и дорога то, — не узнать было, пра не узнать. Встретится обоз, так весь в сторону и сворачиват, в снег-ту; на-мол родимой, про-

езжай себе с Богом, мы тя не задерживаем. Эх, приятной народ, одно слово: нет этого народу-ту миляе.

— А ведь тройке-то, говорю, легче бы своротить, чем обозу...

-- Как не легче! Потом выбираться-ту им на полчаса хватит; животинка-ту совсем намучается.

Говорит это просто, как ни в чем не бывало, и мое замечание, повидимому, нисколько его не задевает.

— Вот уж у нас, к Костроме, народ неуважительной, гордой народ. Никакого от него почтения не жди. «Нам, говорит, с обозом-ту труднее, объезжай сам», говорит. А тут вот да в Вологодской губ. простой народ, хороший. (Дело было верст за 150 от Костр.).

Кстати, несколько слов о наших спутниках, жандармах. Против питерских и московских разница громадная. Больше здесь мужик-то сохранился; меньше несколько выправки шпионской, а и есть, так как-то наивнее. Потом, отношения к мужикам лучше, наскоку меньше. Нет галантности, смешанной с каким-то лакейством, как у наших питерских провожатых, в отношении к интеллигенции, зато и не станут доказывать извозщику, что он «не имеет полного права» подходить к ним за своими деньгами, как московские. Доходы тоже рвут поменьше. Можно где лошадкой меньше припречь—ладно, нельзя—что ж делать. Вот только чем мне мой спутник опротивел, это постоянным фырканьем на мужичье, да на серых. «Эх, уж серо, так серо, так серо!» только и слышишь. В лаптях увидит кого—ругается. Девушка дорогой шла, в лаптях. «Эх,—кричит ей—вот уж

не люблю я этого,—такая славная, можно сказать, девица и в лаптях идет. Ну уж не люблю, так до бесконечности».

Выражается порой витиевато. Неженкой каким-то прикидываться станет,—перед ямщиками да перед полицейскими форсит. «И мужиком-мол был, так косую в руки не брал». Очень опротивел этим. Другой, что ехал с Перчиком, по лучше кажется.

*

Высоковская станция. Опять земских лошадей тройку принаняли. Садиться стали, барыня какая-то появилась,—смотреть. Поехали важно. У нас попался ямщик (на земских) страстный любитель лошадей. Сначала мы сзади ехали, потом вскачь пустил, почтовых обогнал. Гикает, мчится, грязью нас обдает; рожу назад поворотит, смотрит, далеко ли тех оставил. Осклабится весь в восторге. Подпустит поближе почтовых.—«Ну что, Серёг, ай да Серёг! Видно вашим-то с моими не сбежать. Не-ет!»

— Не сбежать,—соглашается Серёга.

К Унже, наконец, подъехали, к перевозу. Мы вперед переправились. Вид великолепный. Унжа не особенно широка, течение быстрое. «Люта река у вас, так и ревет!»

Действительно, берега точно подрезаны. Прямо против перевоза—церковь, на горе; склоны горы березкой поросли, у берега⁶ другая барка с паромом на волнах качается. Плоты тянутся, другие стоят у берегов. Вправо несколько река дает крутую излучину, берег (левый) тоже горкой заворотил, лес на нем темнеет; правый мыском выдался; коронка на нем из деревьев зеленеет.

(Накидал при переправе эскиз, удастся, так восстановлю хоть слабое подобие этого места).

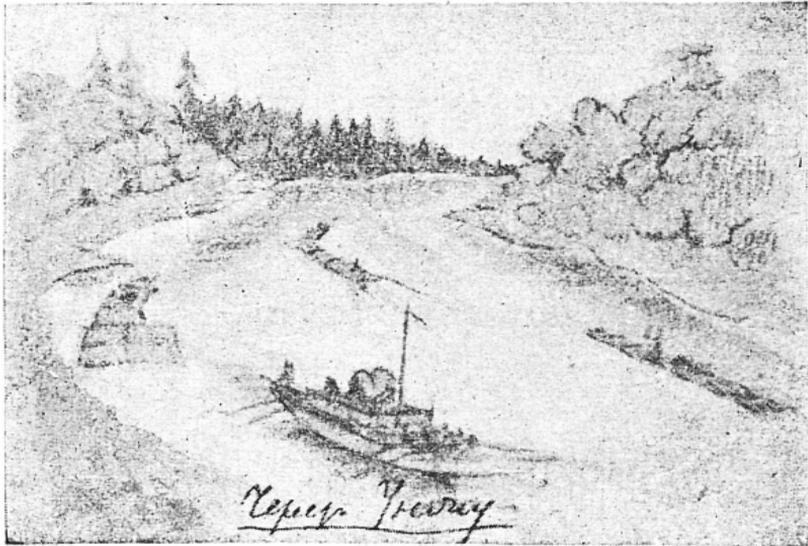
Ждем другую тройку. Пока развлекаемся, кто как. Я рисую, ямщик лошадей перекладывает.



«Зачем?» — «А вот посмотрю, как этот меренок в корню пойдет. Уж этого попытал, вижу: хорошо ходит. Еще того посмотрю». Полицейский с бабенкой какой-то в разговор вступил. Бабенка молодая, очень миловидная, с каким-то детским выражением лица. Держится от служивого поодаль («бабник ты, вот штё!»), хотя вместе с тем и побалагурить охота, несмотря на то, что корова,

за которой она гонялась, далеко уже ушла. «За реку, гляди, уплывет, проклятая!» Вдова, оказывается, «у отця Ивана в работничях» (здесь выговор уже вологодский пошел, мягкий).

Паром с Перцем вниз унесло, на веслах на-силу-то выгребли. Ждать пришлось порядочно.



— Глядите, глядите-ко,—плот-то беспрерывно на тот, на стоячий-ту ввалит. Ух, и быстро же несет его.. Не справиться человеку-то будет одному. Э-э, видишь бабу вызвал из будки-ту... Крестится. Жалеет ее тоже: где сам везет, а ее то уж на помощь зовет, где потрудняе. Эх, и баба же молодец,—гляди, как веслом-то ворочает. Объехали, вот это так баба!

*

Дальше опять бешеная скачка. Кой-где остановится, шагом поедет; выйдут оба ямщика из телег, рядом пойдут, о лошадях беседуют.—«Эта, брат, еще лучше в корню-то идет».—Да, уж

хороши лошади тесь-то тебе подарил. Уважил?» Оказывается, что нашему лошади подарены богачем тестем, да еще с придачей земли. Мужик тоже и тесь, а вот какие подарки делает. Вообще, приходилось по пути с ямщиками встречаться,— народ все зажиточный, лошади хорошие; они берегут их да и зарабатывают хорошо. Вообще, здесь ямщик не то, что у нас, в Волыни. Это не пролетарии, как у нас. В большинстве случаев с нами ездили или сами содержатели почты (мужики же), или сыновья, или родственники их. Редко работники. Земская же почта сплошь справляется мужиками, а то и вольные есть, от себя. В одном месте на паре поехали. «Ладно, вот ужó в поле чью-нибудь прихватим, чья попадетя. Все одно, деньги то получить никому не обидно». В этой местности, начиная от Макарьева, и вплоть до Вятки, везде уже лошади хорошие, везде мужик (может только те, что ямским извозом занимаются) на том стоит. «Вот эта лошадь у меня на ярмарке 40 р. дадена, гляди-ко теперь 80 давали, постом этто,—не взял, больно хороша лошадка-то.» Выходил ее, значит. Да и не одни мужики да ямщики этим делом занимаются.

— Что это у вас за барыня за такая?—спрашивает жандарму того же любителя из с. Высокова.

— А это содержательница станции. Такая она у нас до лошадей охотница, страсть! 16 лошадей у нее, да хорошая-то одна только.

— Что же так?

— А не в руках лошади-то,—вот что. И от станции-то бы ей отказатья, да так уж, как значит, родитель-то держал, так отступиться-то ей выходит не того... Совесть, братец-ты мой.

Выходит, как будто содержание почты есть некоторая священная обязанность, даже по наследству переходящая.

*

С Барановицкой станции на обывательских катили (одна тройка почтовая). Мы выехали на паре, сзади, потом обогнали. Опять наш ямщик торжествует.

— Эх ты,—что брат, и на паре-то я обогнал.

— Ладно, ладно,—ворчит другой,—пусти ужó вперед.

Стыдно, значит, на тройке сзади ехать. Не пустил наш.

Воскресение и вместе праздник всех святых. По деревням народу пропасть. День солнечный, белые рубахи, красные кумачи и ситцы так и сверкают. Настоящие праздничные картины. Хороводы везде, песни.

У въезда в Дюковское село старик какой-то да баба старая, да молодуха остановить нас хотели. Старик чашку какую-то протягивает, кричит что-то. «Ну вас и с пивом-то с вашим, говорит жандарм. Пошел!» Мы промчались мимо, обдавая грязью добродушных крестьян, желавших для праздника проезжих угостить.

На станции оказалась одна только девка работница—черноглазая, вострая красавица—и никого больше. Смотритель куда-то уехал, ямщики разбрелись праздника ради. Хоть шаром покати! Умываться попросил,—девчонка на кухню свела, жандарм тоже поплелся. Дед старый на печи кряхтит. «Хоть бы дедушку смотрителем сделали; дома сидит хоть, управился бы авось». — «Ох, уж дедушко-то у нас, куда ему! Я вот так упра-

вилась бы. Раз и то совсем-было за ямщика снарядилась. Поехала было уже, да подоспел же ямщик-от».

Собираются ямщики помаленьку, переговоры начинаются, между тем к нам мало-помалу праздник деревенский плывет. Окна мы открыли, ветерок свежий пахнул, светло, песни несутся.

Вот набежали кучи мальчишек, девчонки, с светлыми, как лен, волосами; некоторые под окнами уселись, да одна подняла голову, увидела, что я над нею из окна высунулся, и вдруг вся стая вспорхнула. Ничего, однако, скоро после опять сели... Хоровод приближается; раз прошли мимо, другой раз; третий раз у окон стали водить. Песни запели.

— Вот поют, господи!—фыркает жандарм,— вот уж по-мужицки!

— А мы с Перчиком слушаем из окна. Действительно, неособенно складно пели. И были голоса хорошие, да все это врозь как-то шло; тем не менее вся эта картина и теперь стоит как живая перед глазами. Яркие краски, резкие, своеобразные звуки русской песни, хорошие лица, с участливым любопытством смотревшие на нас с залитой солнечным светом улицы,—все это при неизгладившемся еще воспоминании о долгих, скучных днях по острогам, производило какое-то, просто, обаятельное, опьяняющее впечатление. Чорт знает, что в голову лезло, сердце сильнее билось, возбуждение какое-то праздничное чисто; даже возгласы жандарма: „эх, серб, эх—по-мужицки!“—не злили, точно из-за стены где-то слышались. Эх, думалось, жаль, что слух о высылке в деревни не оправдался!

Лошадей подали. Толпа густая стоит у станции. Садимся. «Гляди—слышу,—братья ведь это родные». Какое чувство собралось здесь эту толпу? Хотелось бы проверить присущее в ту минуту впечатление; а чуялось мне не простое любопытство в этих взглядах, в этом шопоте. Что думают они при виде двух питерских «господ» среди вооруженных жандармов. Возбуждают же эти постоянные демонстрации, толки, объяснения. Вот с какими мыслями садился я в телегу.

— «Пошел!»

В толпе шапки стали снимать, женщины кланяются, желают счастливого пути. Одна все говорила что-то, когда я садился, да не мог я разобрать, что? Головой машет и слова говорит, да слова-то в общем шуме теряются. Тронулись. Вот последняя, немолодая уже баба. Очень типическое, красивое когда-то, исстрадавшееся, будто «болезненное» лицо—на нас смотрит. Вдруг меня точно искрой электрической продернуло...

— Что это она сказала-то?—спрашивает жандарм.

— Не знаю, говорю, не расслышал, но я расслышал или, вернее, мне послышалось. Бывает это со мной. Слышишь кажется ясно, а обдумаешь после, проверишь похладнокровнее—и заключаешь, что не то сказано. Не стану и писать, что послышалось,—очень уж верится-то этому легко, а между тем я не сомневаюсь, что это результат ребяческого праздничного возбуждения, которому слишком уже тогда поддался.

Поехали. Деревня (Дюковская) из глаз исчезла, но по дороге народ встречается часто. С боченками идут за водкой. Пост наступает (филиппов, кажется), так это последний день—

заговение. Ямщик обратный навстречу попался, наш ему кнутовищем погрозил.

— Чего грозишься?

— Видел, девчонка у нас, на станции живет,— так этот самый ямщик полюбовник ейный.

— Баловная она значит?

— И—и! Он ли один, братец ты мо-ой!... и пошел, и пошел.

Вот она, изнанка начинается, думаю. Неприятно стало—реакция против праздничных сантиментов. Стал раскапывать эту изнанку.

— Да она деревенская, или может в городе жила?

— В городе, в Ветлуге жила, там избаловалась. Да что, братец, любовники. Турки, вот, ехали...

— Вот,—указывает в другом месте,—баба мужу водку несет,—все теперь мужиков-то они своих угощают. Заговение. И что тут только будет сегодня!

Смеется в бороду.

— А что?

— Да станут мужики с бабами перекоряться,— ты мол с кем это от меня гуляла? Не знаю, думаешь, а?—А ты думаешь, я-то не знаю. Дура, что-ли, слепая? К кому ты этто ходил! Раздерутся еще, гляди.

По деревне поехали. Вечерело; народ весь на улицах, песни слышатся, говор, смех. Жандарм и полицейский шутки сальные отпускают встречным. Ямщик сыплет свои разоблачения.

— Эх, гульба пойдет всю ночь,—которая есть само-лучшая девка, и ту испортят.

— Н-ну, братец, уж это-то ты врешь!—произносит жандарм с расстановкой.

Чорт его знает, врет ли. А кажется врет, очень уж во вкус разоблачений, кажется, вошел. Однако я всю ночь эти разоблачения переваривал. Этот праздник, эти хорошие, участливые лица, этот привет, к кому бы он ни относился — к проезжим ли людям, или к ссыльным, которых насильно везут в чужую сторону, и рядом эта критика деревенских нравов. Думалось много, усиленно. Не стану передавать здесь всего, что надумалось, — к концу однако разлетелся и чад, опьянявший меня сначала, и осталось болезненное чувство от разоблачений, чисто поверхностных, ямщика. Скорее захотелось на место, да куда-нибудь поглуше, да поскучнее, — всё равно скучно не будет. Под конец смешно даже стало, — с чего это острое, болезненное чувство явилось, и главное оно как бы противуречило чувству, вызванному предыдущими картинками. Конечно, неприятно, но ведь во 1-х не ново, во 2-х — что-же сказано такого? Положим, турки — ну, это уже голый разврат, — да ведь зато «в городе Ветлуге жила», а то ли еще в городке видеть приходилось. Ну, а дальше — с мужьями-то за что перекоряются и т. д., — это известно было и ранее, это так же чисто, как и браки по экономическим хозяйственным соображениям, а не по естественному влечению полов.



Хотя это описание нашего пути далеко еще не кончено, но не в силах продолжать его далее. Дело в том, что всё предыдущее писано в дороге или на остановках, в тюрьмах. Там писалось от нечего делать, да вдобавок в виду решетчатых окон и четырех стен, казалось ярким и интересным

многое такое, что вовсе не интересно в другой обстановке. Теперь приходится продолжать уже на месте, в Глазове, ну, и не хочется, понятно. Просмотрел короткие заметки, набросанные в дороге, и всё сразу так поблекло, что порой даже удивляюсь, как это хватало терпения записывать столько мелочей, пустяков. Притом и времени нет, в свободное время, которого немного, почитать хочется. Итак, прерываю эту скучную историю верст за 400 до Вятки.

Лучше скажу несколько слов о настоящей обстановке. Кое-что знаете уже из писем. Вот фамилии наших сожителей. Во 1-х ссыльный рабочий Стольберг,²³ судился по поводу стачки и беспорядков на заводе, сослан в Глазов месяцев 6 назад, зимой; жена к нему приехала, мы живем у них. Люди хорошие. Затем с нами же поселились Иван Кузьмин²⁴ и Александр Прокофьев, рабочие из Питера; хозяин наш (домов.) Александр Павлович Бородин.

Перчик работает в мастерской у хозяина (все там работают, кроме меня). Я устроился у сапожника. Сначала было довольно трудно. Познакомились через хозяина, но сапожник смотрел на мои намерения очень подозрительно. Во 1-х не верилось ему, что я работать еще совсем не умею. «Конечно, говорит, не к вам я это, например, прилагаю, а только что бывает это: придет человек, присмотрится, как что, а потом нам же сапожникам и скажет: не угодно ли, скажет, ко мне в швальную, например, в работники». Это говорилось в 1-ый день, когда я уже сидел у него. Сначала, как видите, положение было довольно глупое, однако, как ни неприятно было, я решил,

что вотрюсь к нему, а там познакомимся и все уладится. Поэтому, не распространяясь много, воспользовался его уступчивостью,—«что ж, мол, работайте, не мешаю, места хватит». Сначала был очень сдержан. «Вы, например, не станете же смеяться—дурак, мол, работать не умеет» и т. д. «Не всю же работу вы загребете» — все в том же роде. Что тут было толковать? Говорить много—не поверит. Я просто смеялся и не опровергал. Наконец таки устроились. Когда он убедился, что я не солгал ему, сказав, что совсем не умею работать,—повеселел и поверил тогда, что и швальню открывать я не намерен; правда, знает и сам, что швальни часто открывают люди, сами работать не умеющие, но вообще убедился, что я не лгу. Отношения теперь хорошие. Работаем вдвоем, я ему, конечно, кой в чем помогаю, но вообще, он очень осторожен, старается уберечься от всякого намека на эксплуатацию чужого труда. Сначала настоял на том, чтобы я купил свой товар, и работал бы под его указаниями и только когда обжились хорошо, я успел разъяснить ему, что мне важна именно работа, чем больше, тем лучше, что это мой прямой интерес. Вообще, отношения хорошие и много интересного приходится видеть и слышать, так как наша мастерская (собственно мастерской, конечно, назвать нельзя) служит часто сборным пунктом разного серого простого люда. Заказчик придет, заказчица, вотьак деревенский, заводская бабенка, «куфарка» городская, приказчик и т. д. Кумушки тоже с женой хозяина посудачить придут (сплетни любимое занятие и достигают невероятных пределов).

Девушки слободские заворачивают («у Несте-рыча-то, слышь, «петербургский» работает» — это интересуется их в совершенно особенном роде) Я не обижу слободку, сказав, что нравы здесь «вольные», и девушки далеко не весталки (не заключайте впрочем о сплошном разврате, вольные нравы и разврат далеко не одно и то же — это между прочим). Сначала нас прямо спрашивали, есть ли уже у нас «любезные». Когда же после довольно долгого времени убедились, что

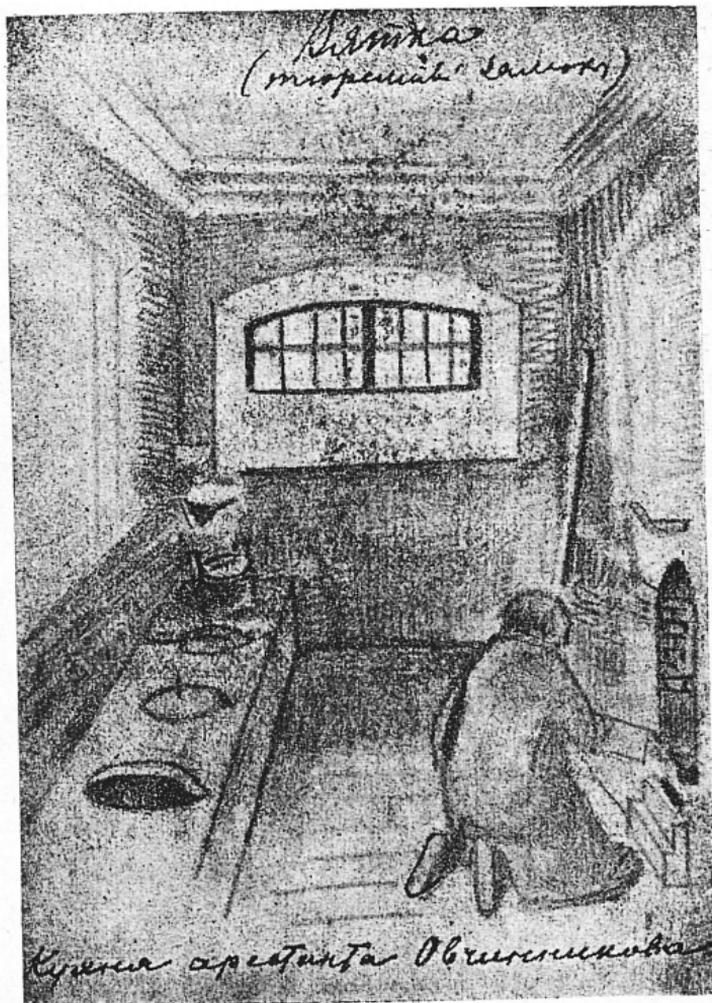


таковых нет, да и не предвидится надобности — это сильно удивило. Впрочем, поверили только близко знающие нас и видящие нашу жизнь. Другие слобожане, интересующиеся нами, удивлены, но все-таки держатся на недоумевающей формуле: «не может этого быть». Что же касается до более

близких знакомых, даже девушек,—те перестали смотреть на меня, как на кавалера, и отношения довольно просты. Я, впрочем, больше молчу и слушаю,—особенно сначала многое казалось странно, и я не знал, как отнестись. Теперь, повторяю, отношения установились прочнее, есть много точек соприкосновения, беседы чаще, интереснее,—меня не стесняются, и я не стесняюсь.—«Айдайте-ко, Галактионыч, чайку с нами выпить»,—или: «ну, мы уйдем, домовничайте-ко, Галактионыч,»—вот обычный тон в обращении со мною.

Когда стал больше вглядываться и узнавать жизнь слободки,—тогда многое, что сначала видел в одном свете, стало казаться в другом,—тогда стали меняться отношения ко многим лицам. То, что сначала отталкивало, сгладилось; в других случаях хорошие отношения к некоторым из слобожан изменились в сдержанные и пожалуй чуть не враждебные. Это понятно и естественно,—индифферентное или вполне благодушное отношение ко всем и ко всему возможно только при очень поверхностном знакомстве «со стороны».

Ну мои отношения к окружающему определяются тем, что я изучаю—это главное, остальное второстепенное; часто приходится с некоторым усилием подавлять желание вмешаться «со своим», да все таки подавляю. «Я так за вами замечаю, сказала мне одна слобожанка,—что вы ни слушать, ни говорить не любите, вы что-то все думаете». Речь шла о развеселых шуточных разговорах (мой хозяин балагур и весельчак, впрочем, совершенно особого рода). Это было сказано довольно давно и действительно тогда мне приходилось много думать о слышанном, а многое



резало непривычное ухо и вероятно это было заметно («слушать, говорить не любит»). Было и два-три случая интересных в общем, нравственно теоретическом смысле, где пришлось, если не спорить, то более или менее ясно [выразить] хотя бы просто сдержанным молчанием или двумя-тремя словами свое отношение к известному явлению слободской жизни.

Ну, да некогда пускаться в подробности. Завтра расстанусь с этой книжечкой. Приведется ли ей побывать в близких, дорогих руках, не знаю. Думаю, кой-кому из близких она и доставила бы какойнибудь, совершенно особый, интерес.

Вот фамилии наших сотоварищей. Стольберг (рабочий, сослан зимой, за стачку, малый способный, развитой, отличный работник, но часто находится в каком-то, как будто, подавленном настроении. Это отражается и на голосе и на манерах). Живет здесь с женой. Хорошая женщина, простая (в Питере была прачка). Здесь, в Слободке она представляет залетную пташку, пользуется большим уважением, не лишена своеобразного изящества, которое сразу выделяет ее из среды здешних кумушек. Оба—финляндцы.

Далее—Кузьмин и Христофоров—рабочие из Семянникова завода, молодые, живые, хорошие малые, особенно Кузьмин (крестьянин). Перец работает с ними, работают сообща, на равных условиях.

Наконец,—хозяин домовой—Бородин, человек молодой, мало-образованный, неразвитой;— по складу ума и отчасти характера напоминает Мочского. Сначала работали у него в мастерской, но так как условия определены не были и при том в самом в нем мы заметили весьма ясно выраженные склонности на обухе рожь молотить, то пришлось сделать маленький «переворот» в отношениях. Поставили условия, условия не приняты, и мы решили завести свою мастерскую, без денег, без инструментов, без заказчиков. Заказы помалу являются, инструменты будут наши, а там как-нибудь станем жить. Сначала нелегко, особенно

жене Стольберга. Мы все, пожертвовав более или менее обеспеченной работой у кулака-хозяина и рискуя пустить свою ладью, имели нравственные мотивы; у нее же таких не было и потому всякие хозяйственные невзгоды и недостатки на ней отражаются сильнее, чем на нас. Пока живем на той же квартире, живем так себе, недурно, но еще нет возможности обзавестись своим хозяйством.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСТОРИЯ МОЕГО СОВРЕМЕННОКА ¹

Отрывки

Гл. XLVIII. В Литовском замке.

...В ясный день начала мая в части двора, видной из нашего корридора, появились две кареты. Население политического отделения взволновалось: кого-то увезут?... Через несколько минут вызвали нас с младшим братом. Наши сборы были недолги, но выезд оказался очень торжественным: в каждую карету с нами село по два жандарма, трое скакали по сторонам и сзади, шестой сидел на козлах. Это был целый отряд, наводивший панику на прохожих. Когда мы, свернув с Морской, выехали на широкую часть Невского против гостиного двора, рабочие, чинившие мостовую, быстро вскакивали и, отбежав в сторону, снимали картузы и крестились.

Помню, это меня тронуло. Пришел на память Денисюк и его меланхолическое восклицание ²: Да, когда и как мы вернемся сюда?.. Мне казалось тогда, что этого ждать не

¹ В. Короленко. Полное собрание сочинений. Посмертное издание Украинского ГИЗа. 1922 г., том II, ч. 2, стр. 241—247).

² По дороге из Спасской части в Литовский замок сопровождавший Вл. Г-ча пристав Денисюк глубоко вздыхал и на вопрос Вл. Г-ча, о чем он вздыхает, ответил меланхолично: «Кто знает?—сегодня я везу вас, а через месяц, быть может, вы повезете меня?». А. Г.

так уж долго. И, конечно, вернемся мы при другой обстановке, в свободную столицу России.

На вокзале мне бросилась в глаза, во-первых, высокая фигура помощника градоначальника Фурсова. Он, очевидно, ждал нас, встретил и проводил каким-то странным и непонятно для меня враждебным взглядом. А дальше, на дебаркадере, стояла моя мать, с заплаканными глазами, и сестры. Нам позволили только обнять их и принять несколько денег, а затем свистнул локомотив, и туманное пятно над Петербургом вскоре исчезло на горизонте.

Гл. XLIX. Дорогой в Глазов.

После Спасской одиночной тюрьмы и Литовского замка все казалось мне по дороге замечательным, все вызывало яркие и сильные впечатления. Здесь я не буду воспроизводить всех подробностей. Отмечу лишь некоторые.

При остановке в Москве меня доставили в ту же Басманную часть, где я испытал вместе с Григорьевым и Вернером первое заключение. Только теперь меня посадили не в подвал, а в камеру второго этажа, окнами во двор. Прежнего старика смотрителя уже не было, но нравы были прежние: камеры и корридоры были какие-то обтерханные, стены и печка сплошь исписаны временными жильцами. Караул содержался особой породой полицейских, сохранившихся тогда, кажется, только в Москве и носивших название «мушкатеров». Название это происходило, вероятно, от «мушкетов», старых кремневых ружей, которыми они были вооружены. Большею частью это были инвалиды, пригодные скорее караулить гарнизонные огороды на окраинах, чем арестантов. Не помню уже точно, но кажется мне, что из этой части еще до моего приезда, на глазах у этих храбрых мушкатеров, убежали два или три «червонных валета», за что знакомый мне смотритель и лишился места. Я зарисовал в свою книжечку характерные фигуры этих мушкатеров.

Во время последнего свидания в Литовском замке мать и сестры сообщили мне, что есть надежда на скорое освобождение зятя. Это очень обрадовало нас с братом: в семье останется хоть один работник. Но, увы,—заявившись тщательным обозрением стеной литературы в своей камере,

я наткнулся на свежую запись: «Николай Лошкарев. Проездом из Петербурга такого-то числа, такого-то года». И так, еще вчера в этой камере был для меня близкий человек. Надежды не осталось: семья лишена всех работников: у сестры недавно родился ребенок, другая была еще только подросток. Григорьев, которого мы считали членом нашей семьи, был тоже арестован. Старшего брата мы оставили в Литовском замке (его отпустили недели через две).

Положение семьи было критическое, но в отчаяние я не приходил: в эти последние годы мы жили в особенной атмосфере любви и дружбы, соединявшей весь наш кружок. Кроме того, забота о семьях арестованных захватила тогда широкие круги интеллигенции. Наконец, уже после нашего ареста, кружок близких знакомых семьи несколько расширился: в него вошел, между прочим, К. И. Панкеев. Это был тогда очень оригинальный юноша: сын миллионера, владельца местечка Каховки на Днестре, он отказался от помощи отца и жил уроками. Сблизившись с Григорьевым, через него он сошелся также с нашей семьей и в трудные дни выказал много горячего дружеского участия. Таким образом, хотя известие о высылке Лошкарева сильно огорчило меня и заставило глубоко задуматься над дальнейшим устройством нашей семьи, но я отложил все эти горькие мысли и заботы до того времени, когда мы с братом будем на месте,

Из Москвы на следующий день нас повезли в Ярославль.

Приехали мы туда утром, и, к моему удовольствию, прямо с вокзала жандармы повезли нас на пристань. Передо мной опять раскинулась Волга. Я видел ее уже во время первой высылки и даже, как читатель помнит, переправлялся через нее на спасательной лодке. Но тогда она была почти вся под льдом и как-то ничего не говорила воображению. Теперь, в ясный весенний день, она кипела своеобразной жизнью. По ней неслись пароходы, плыли вниз баржи, грузчики недалеке пели «дубинушку», и мимо нас спускался баркас с бурлаками и работницами. Они тоже налаживали песню, и я ждал услышать что-нибудь вроде:

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички...

В это яркое весеннее утро я весь был охвачен особым ощущением волжского романтизма. Для меня Волга—это был Некрасов, исторические предания о движении русского народа это был Стенька Разин и Пугачев, это была волжская вольница и бурлаки Репина, которых я с большой любовью скопировал тушью с гравюры и повесил на стенке своей петербургской комнаты.

Надо заметить, что этот волго-разбойнический романтизм был тогда распространен не только среди радикальной молодежи. Правда, в наших кружках на вечеринках с большим одушевлением пели и тогда волжскую песню: «Есть на Волге утес», в которой говорилось о том, как Стенька Разин провел ночь на волжском утесе, думая свою, «великую думу» о народной свободе, а на утро решил идти на Москву.. Степан погиб, но свои думы заповедал утесу, а утес-великан все, что думал Степан, готов передать неведомому новому герою. Да, мы охотно пели и охотно слушали эту «удалецкую» песню, но... характерно, что написал ее некто Навроцкий, товарищ прокурора, делавший карьеру обвинительными речами в политических процессах, один из редакторов неважного журнальчика «Русская речь», где и была впервые напечатана эта песня.

От Ярославля до Костромы мы поехали на пароходе. Это было нарушение жандармской инструкции, и старший жандарм просил нас не проговориться об этом при случае. Мы обещали, но зато я вытащил свою книжечку и стал свободно записывать свои впечатления. Для них это была значительная экономия на прогонах, для меня--некоторая свобода.

Спускался мягкий ласковый вечер, когда с пристани мы подехали на двух извозчиках к губернаторскому дому в Костроме. Нас ввели в прихожую и заставили дожидаться его превосходительства. Из окна этой прихожей была видна широкая аллея прекрасного густого сада, и на ней я увидел фигуры двух пожилых мужчин. В аллею проникали еще косые лучи солнца, и оба господина спокойно и, повидимому, мечтательно разговаривавшие о чем-то, по временам останавливались, смотрели кверху на белые облака, плывущие по синему небу, и опять тихо двигались по аллее. Обе фигуры были интеллигентные и приятные и напомнили мне почему-то героев Тургенева.

К ним подбежал служитель в длинном сюртуке с медными пуговицами и сказал что-то, вероятно о нас. Один из собеседников, более высокий и более полный, кивнул головой, и оба они пошли опять в глубь аллеи, не желая, повидимому, прерывать так скоро интересного разговора и мечтательного настроения.

Через четверть часа, однако, дверь из сада открылась, и оба господина вошли в переднюю. Жандармы вытянулись, старший подал бумагу. Господин, которого я мысленно назвал Лаврецким (из «Дворянского гнезда»), небрежно взял ее, небрежно прочел и сказал с выражением равнодушия и скуки:

— Ну что-ж... Везите в тюрьму...

— Господин губернатор,—выступил я,—Вы отправляете нас в тюрьму... Могу я узнать, на каком законном основании?

Собеседник пониже ростом, которого я мысленно прозвал Михалевичем, с любопытством взглянул на меня, а потом на губернатора. Но тот ответил, пожав плечами:

— На том основании, что вы высылаетесь в административном порядке и должны переночевать в тюрьме, пока мы изготовим нужные бумаги и деньги для дальнейшего пути...

— А за что мы высылаемся? Наказание не может быть без вины.

На лице его превосходительства стояло то же выражение величавой скуки.

— Административная высылка,—сказал он,—не есть наказание. Это только презервативная мера, которую правительство в тревожные времена вынуждено применять в видах общественного спокойствия и удобства... Быть может, даже вашего удобства,—прибавил он, слегка поклонившись, и удалился в комнаты.

Тот, которого я назвал Михалевичем, с любопытством посмотрел на меня и на своего приятеля, и мне показалось, что во взгляде его мелькнула улыбка.

Через четверть часа жандармы вынесли бумагу, и мы шестером отправились пешком через весь город в тюрьму, Это опять была «экономия». Мы, конечно, могли бы потребовать извозчиков, но закат был чудесный, и мы не прочь были пройтись пешком, сократив таким образом тюремный вечер.

В тюрьме нам отвели большую пустую комнату, в которой почему-то продержали более двух недель. Причины этой задержки я не знаю. Быть может, мечтательный губернатор был слишком занят интересными разговорами с приятелем. Я опять успел с собой пронести карандаш и книжечку, записывал свои впечатления и рисовал виды из окна, при чем на первом плане выступала верхушка тюремной стены с целующимися на ней голубями. Но бедняга брат жестоко скучал, пока мы не придумали сделать мяч из мягого хлеба, которым перекидывались из конца в конец камеры. Так и застали нас сидящими на полу и играющими в мяч явившиеся за нами смотритель и караульный офицер. В конторе нас ждали уже новые жандармы.

Нас повезли на северо-восток сначала широкими трактами, обсаженными березками, которые, потом, сузившись, потянулись между стенами лесов. Остановившись в одной деревне на ямской станции, я увидел на косяке окна надпись: «Проехали такие-то». Среди фамилий попалась знакомая: Мурашкинцева. Это была молодая девушка, жившая рядом с нами в том же проходном дворе между Невским и Второй улицей.—Значит,—подумал я,—и квартира соседей, за которыми следили тот же орангутанг и подвязанная щека, тоже разгромлена.

Везшие нас и постоянно сменявшиеся вольные ямщики рассказывали нам о компании молодых господ и барышень, которых провезли накануне по тому же вятскому тракту, Особенно часто упоминали про Клавдию Мурашкинцеву, у которых провезли накануне по тому же вятскому тракту.

— Заливается, что тебе соловей... восхищались ямщики.

Погода была чудесная, время праздничное (Троица и Духов день), и все встречные деревни тоже водили хороводы и звенели песнями. В одной деревне, где мы остановились утром, чтобы выпить чаю, большой хоровод подошел к ямской избе и стал петь перед нашими окнами. Когда мы сидели в перекладные, крестьяне окружили крыльцо, делясь впечатлениями. Мы с братом ходили друг на друга и были одинаково одеты, «Браты видно»,—говорили жалобными голосами женщины, а когда мы уселись, каждый между двумя жандармами, и передняя повозка тронулась,—я даже вздрогнул от радостной неожиданности: мне послышалось

так ясно, что какая-то высокая, уже немолодая женщина, глядевшая на нас с «болезненным» выражением в лице, сказала нараспев:

— Эх, ро-ди-и-мые... Кабы наша воля!..

Я не вполне уверен, что были сказаны именно эти слова. Быть может, в них отлило мое воображение все впечатления этих светлых праздничных дней, так обаятельно действовавших после тюрьмы. Несомненно, во всяком случае, что всюду в празднично настроенных деревнях, в толпах молодежи, водивших хороводы, и среди степенных мужиков и баб, сидевших на завалинках, нас встречали и провожали не враждебные, а скорее любопытно-сочувственные взгляды.

В двух или трех местах на дорогу степенно выходили старики или старухи с ковшами в руках и предлагали деревенское пиво. Ямщики останавливали лошадей.

.

II

ИЗ «ОТНОШЕНИЯ» ПЕТЕРБУРГСКОГО ГРАДО- НАЧАЛЬНИКА ВЯТСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ

Когда «История моего современника» была уже напечатана, в № 7 журнала «Вятская жизнь» за 1924 г. П. Н. Лупповым были опубликованы документы, найденные в архивах бывш. вятского губернского правления, освещающие вятский период жизни Короленко. Среди них, между прочим, имеется препроводительная бумага С.-петербургского градоначальника от 10 мая 1879 года на имя вятского губернатора, в которой так характеризуется «преступление» братьев Короленко:

...«III отделение собственной с. и. в. канцелярии, в виду имеющихся сведений о дворянах Иларионе и Владимире Короленко, пришло к заключению, что лица эти в числе прочих оказываются несомненно виновными в сообществе с главными революционными деятелями, а равно в участии по печатанию и распространению революционных изданий вольной типографии. Несмотря, однако, на столь важные указания, основанные на тщательной проверке действий и отношений названных лиц, они по отношению юридических данных к обвинению не могут быть привлечены к ответственности по

суду и даже к дознанию, производимому об их главных сообщниках, так как успели при своей изворотливости скрыть следы преступных деяний».

...«III отделение, в виду изложенного, предав названных братьев Короленко в мое распоряжение—п. шет далее градоначальник,—присовокупило, что кроме означенного общего обвинения о них имеются еще следующие указания: они совещались между собой убить одного из секретных агентов; но злодеяние свое не успели привести в исполнение, так как об этом получены были заблаговременные сведения и агент от грозившей ему опасности охранен.

По докладе об этом С.-петербургский временный генерал-губернатор на основании высоч. предоставленной ему власти определил: выслать Короленко в Вятскую губернию под надзор полиции».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Перец» — семейное прозвище младшего брата Вл. Гал. Короленко—Илариона Галактионовича. Род. 1855 г., умер 25 ноября 1915 г. В начале 1870 годов учился в Птб. в Строит. уч-ще. Работал корректором. С середины 1870 годов вращался среди революционных кружков; участвовал в демонстрации 30 марта 1876 г. при похоронах студ. Чернышева. Арестован в Птб. 4 марта 1879 г. вместе с братьями. Админ. выслан 10 мая 1879 г. в Вятскую губ. (Глазов) под гласный надзор полиции. С конца 1884 г. проживал в Нижнем Новгороде под негласн. надзором, от которого освобожден в декабре 1888 г.

² Владимир Викторович Лесевич род. 1837 г., умер 1905 г. Писатель, философ (позитивист), арестован в Птб. в марте 1879 г. при производстве дознания о тайной типографии за сношения с революцион. деятелями и «близкое пособничество» Г. Лопатину. Выслан в административном порядке в мае 1879 г. в Восточную Сибирь под надзор полиции—(Енисейск, затем с 1880 г. переведен в Красноярск).

³ Макс Юделевич Гордон—род. около 1853 г. Наборщик. Арестован в Птб. 24 марта 1879 г. по делу о тайной типографии. В том же году выслан под надзор полиции в Сибирь и поселен в Енисейске, откуда освобожден в 1886 г.

⁴ Помощник петербургского градоначальника.

⁵ Александра Семеновна Ивановская (впоследствии по мужу Малышева)—род. 1851 г. В 70 годах училась в Птб. на курсах Лесгафта и примкнула к революционному движению. Привлекалась к дознанию в феврале 1876 г. в Москве по делу противоправительствен. о-ва Ивановского—Ионова и была выслана на родину под надзор полиции. В 1877 г. нелегально проживала в Москве, принимая участие в револ. «О-ве друзей» Натансона-Козова. Арестована 27 октября

1879 г. по дознанию об убийстве предателя Рейнштейна и выслана под надзор полиции сначала в Холмогоры, а затем (в 1882 г.) — в Туринск Тобольской губ.

⁶ Надежда и Вера Зосимовны Поповы — сотрудницы Вл. Г-ча по корректурной работе.

⁷ Николай Александрович Лошкарёв — муж сестры Вл. Гал. — Марии Галактионовны, б. студент мед.-хир. акад. В 70 годах принимал участие в революционном движении и работал в кузнице Н. Богдановича (1877 г.). Арестован в Птб. в марте 1879 г. В августе 1879 г. в административном порядке выслан в Восточную Сибирь (сначала Красноярск, затем Минусинск).

⁸ Петр Зосимович Попов — род. 1859 г., товарищ Вл. Гал., революционер, в 70 годах — студ. мед.-хирург. академии; принимал участие в революционной работе, поступив для революционных целей рабочим на фабрику. Арестован в 1879 г. по подозрению в причастности к убийству предателя Рейнштейна, в квартире которого Попов проживал нелегально. В 1880 г. выслан администр. порядком в Красноярск, а затем в Минусинск, где окончил жизнь самоубийством.

⁹ Иван Иванович Бочкарев — род. 1842 г., революционер. В 60 годах вращался в кружках молодежи, имел свою типографию, выезжал за границу и по возвращении был арестован (1868 г.) за сношения с женевскими эмигрантами. Привлекался по делу Нечаева. Неоднократно высылался под надзор полиции (1869 г. в Осташки; 1873 г. — в Красный Яр). В мае 1879 г. был арестован по подозрению в сношениях с лицами, причастными к убийству предателя Рейнштейна, и в переписке с пропагандистами и выслан администр. порядком в Пинегу Арханг. губ.

¹⁰ Костромской губернатор.

¹¹ Алексей Николаевич Рукин — род. 1857 г., студ. Птб. унив. Проживал вместе с студ. Ивановым и Прядильщиковым, у которого была устроена 24/25 февраля 1879 г. сходка под видом вечеринки. Арестован и привлечен к дознанию за участие в сходке и выслан администр. порядком в Вятскую губернию (1879 г.).

¹² Николай Платонович Церковницкий — род. 1858 г. В 70 годах состоял студентом Птб. унив. Арестован в числе 40 лиц, участвовавших в ночь 24/25 февраля на сходке в квартире студента Прядильщикова и Иванова, где проживал и

Церковничкий. За участие в недозволенной сходке выслан администр. порядком в Вятскую губернию.

¹³ Сергей Филиппович Марченко—род. 1857 г. По ремеслу чертежник. В 70 годах состоял вольнослушателем Птб. унив. Арестован в ночь на 25 февраля 1879 г. на сходке в квартире студента Прядильщикова в числе других 40 лиц, собравшихся под видом вечеринки. Выслан администр. порядком в Вятскую губернию.

¹⁴ Василий Адрианович Векшин—род в нач. 1850 г.г., быв. студент Птб. университета. За участие в сходке 24 февраля 1879 г. на квартире студента Иванова выслан администр. порядком в Вятскую губ. под надзор полиции. В 1884 г. вновь привлекался к дознанию по обвинению в распространении революционных изданий и снова подчинен надзору.

¹⁵ Ольга Михайловна Пастухова—род. 1853 г. В 70 годах состояла слушат. Еленинск. повивальн. института в Птб., примкнула к революционному движению. Была арестована на сходке в квартире студента Иванова 24/25 февраля 1879 г. Выслана под надзор полиции в Вятскую губернию.

¹⁶ Клавдия Андреевна Мурашкинцева—род. 1860 г. В 70 годах принимала участие в революционном движении—сбирала деньги на нелегальные издания «З и В»; находилась под надзором полиции с 6/ХI—1878 г. Присутствовала на незаконной сходке 24/25 февраля 1879 г. на квартире студента Иванова, где и была арестована. Выслана в 1879 г. администр. порядком в Вятскую губ. Впоследствии—в 80 годах за связь с революционным движением вновь была арестована и выслана в Саратовскую губ., а затем проживала в Твери (до 1889 г.) и в Птб. (до 1895 г.) под надзором полиции.

¹⁷ Федор Алексеевич Рябинин—род. 1851 г. В связи с дознанием по делу тайной типографии был арестован в Птб. в феврале 1879 г. и за хранение нелегальной литературы выслан администр. порядком в 1879 г. в Вятку под надзор полиции.

¹⁸ Гавриил Васильевич Белоцветов—род. около 1852 г. Привлекался в 1878 г. по делу о пропаганде в Ярославле и Костроме (дело Антушева). Предан суду. В 1880 годах был в ссылке в Баягантайском улусе Якутской области.

¹⁹ Василий Николаевич Григорьев—род. 1852 г., умер 1925 г. Близкий друг Вл. Гал. и товарищ его по Петровской академии. Арестован в 1876 г. как один из главных зачим-

щиков беспорядков среди студентов академии и выслан в Олонецкую губ. Вторично арестован в Птб. в апреле 1879 г. и привлечен к дознанию о тайном печатании землевольческих изданий за границей; в 1880 г. подчинен гласному надзору полиции. Впоследствии известный статистик и публицист.

²⁰ Мамикониан К., товарищ Вл Гал. по корректорской работе в «Новостях», студент Горного института. Арестован 23 апреля 1879 г. в Птб. и привлечен по делу о тайной типографии «З и В».

²¹ Туцевич Александр Казимирович—двоюродный брат Вл. Гал. Арестован одновременно с ним 4 марта 1879 г. по подозрению в соучастии в работе тайной типографии. В заключении заболел острым психическим расстройством и был освобожден в 1880 г.

²² Авдотья Семеновна Ивановская (с 1886 г. жена Вл. Гал.)—род. 1855 г. В 70 годах состояла слушат. Лубянских высших женских курсов в Москве. Арестована в 1876 г. и привлечена к дознанию по делу о революционной пропаганде в Москве и Вологодской губ. (дело Ардашева и Балмашева). Будучи отпущена на поруки, скрылась и вновь была арестована в марте 1879 г., когда и выслана в Олонецкую губ., в 1880 г. переведена под надзор полиции в Кострому.

²³ Стольберг К., финляндский уроженец, рабочий Птб. заводов (механик).

²⁴ Кузьмин Иван—род 1861 г., рабочий За распространение революционных изданий среди рабочих арестован и 10 апреля 1879 г. выслан в Вятскую губернию под надзор полиции.

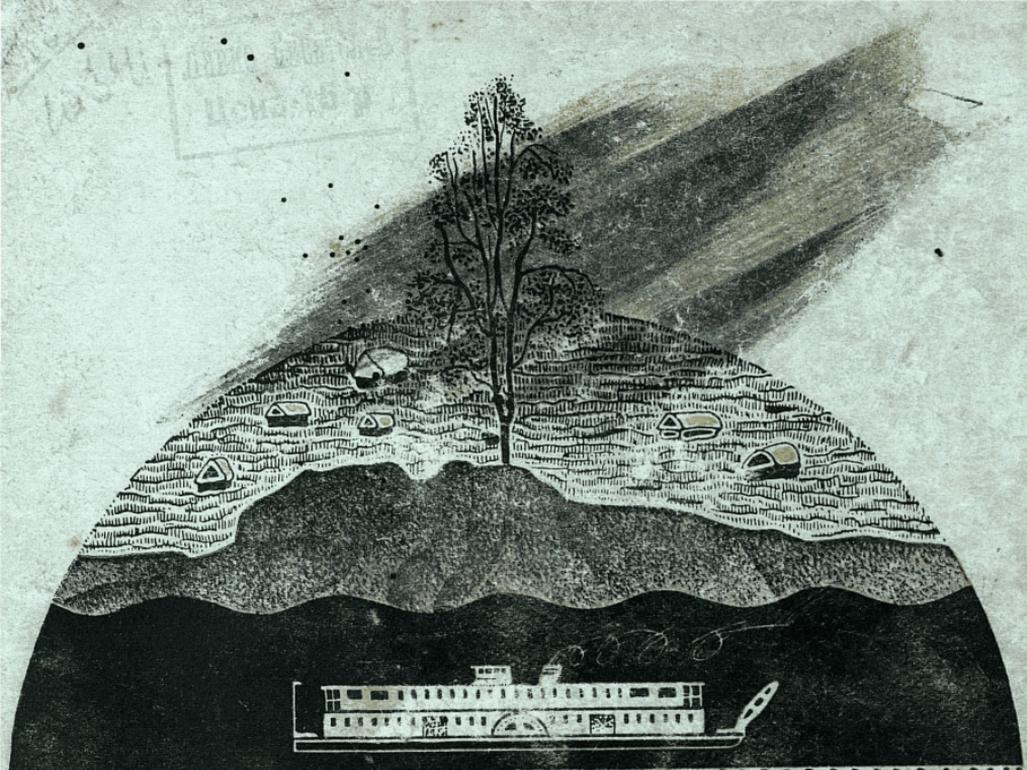


Кроме литературных источников при составлении примечаний использованы материалы московского архива и картотеки «Био-библиографического словаря деятелей революционного движения в России», изд. о-вом политкаторжан.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

С. Алексеев.—О Короленко	5
А. Гриневицкая.—Предисловие	17
В. Г. Короленко.—Записная книжка	27
Приложения. Отрывки из «Истории моего современника»	117
Примечания	127

Редактор А. Гриневицкая.
Технический редактор В. Пакомов.
Корректор А. Тихомирова.
Отпечатано в типографии Горьков-
ский Полиграф, город Горький, ул.
Фигнер, 32, в количестве 5000 эк-
земпляров. Крайлит № 9724 Заказ
№ 10930.ОГИЗ IV X—1в № 20.Форм.
бум. 72×104 ¹/₂, печ. л. 4¹/₈. Сдано
в производство 15 апреля, подпи-
сано к печати 13 ноября 32 г.



Собрание
С. Д. Балухатого

96 $\frac{1}{106}$